



**Михаил Яковлевич Гефтер
Глеб Олегович Павловский
Третьего тысячелетия не будет.
Русская история игры с человечеством**

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8740905*

*Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с человечеством: Европа; Москва; 2015
ISBN 978-5-9739-0220-9*

Аннотация

Книга бесед великого историка и философа Михаила Гефтера (1918–1995) содержит наиболее полное изложение его взглядов на советскую историю как кульминацию русской. Возникновение советской цивилизации и ее самоубийство, русский коммунизм и русский мир – сквозь судьбы исторических персонажей, любивших, ненавидевших и убивавших друг друга. Многих из них Гефтер знал лично или через знакомых. Необычны и пронизательны наброски интеллектуальных биографий В. И. Ульянова (Ленина) и Иосифа Сталина. В разговорах Михаила Гефтера с Глебом Павловским история предстает как цепь поступков, где каждое из событий могло бы быть другим, но выбор политически неизбежен и уйти от него нельзя.

Содержание

От составителя	7
Рассказ о моих пяти жизнях в ночь на 5 октября 1993 года	10
Часть 1. Теология исторического и ее политика	17
1. Саморастворение в истории. Мышление вопросами без ответа.	17
2. Коллективное прозрение, освобождение сверху и исчерпание истории.	18
3. О времени, параллельном мире и немотивированности человека. Будущее прошлого.	19
4. Публичные девки случайности. Детерминизм и ужас финального результата. Происхождение мужицкого царя. Поражение Ленина и поражение Ганди.	22
5. Ленин превращает себя в обстоятельство русской истории. Тень Чаадаева.	24
6. Поступок-событие-бифуркация. Зачем царь Александр пошел навстречу Гриневицкому?	25
Часть 2. Крымский тупик мировой истории. «Красавец-кроманьонец» уходит от смерти	26
7. Марр и тупики истории. Ранний Мир был не примитивней, а сложнее нашего	26
8. Осевых времен было много. Загадка человеческого разбегания по Земле. Человек переначинается.	29
9. Красавец-кроманьонец и открытие смерти. Культура – темное начало. Не-нормальность и невсеобщность культуры	31
10. Homo mythicus и империи-изоляты. Человек способен замкнуться.	33
11. Пирамиды. Прижизненная смерть фараона. Жизнь оборачивается сервисной функцией.	34
12. Египет и крито-минойцы. Культура способна переходить в другое вне собственного дома.	35
13. Иудейский запрет и римская терпимость. ИИСУС и апостол ПАВЕЛ. Человечество становится бескомпромиссной идеей.	36
14. Homo historicus. Заполненность человека историей. История неостановима изнутри.	37
15. Исторический человек как «новая тварь». Ленин – банкрот-финалист истории. Нам мешали историю изобретать.	38
16. Утопия оппонирует мифу. Коммунистическая утопия. Антиутопия и террористический эгалитаризм Сталина.	39
17. Исторический компромисс Павла и нищие духом Иисуса.	40
18. Судный день и время конца. Исполнимость и неисполнимое в истории.	41
19. Действие смерти, переоткрывающей жизнь. Спасение мертвых.	42
Часть 3. Политика и теология альтернативности.	43

20. Октябрьская революция и коммунистический акт спасения. Предшественники превращаются в «пережитки».	43
21. Эпоха Голгофы и Великой французской революции. Термидор как человеческая попытка остановить себя средствами революции.	45
22. Человек-самообманщик. Заданность и повторное рабство. Мир завершен, но не закончен.	47
23. Тайна Судного дня. Утраченные возможности. Ликвидаторы прошлого – убийцы будущего.	49
24. Российская Федерация – злополучный термидорианец. Неудовлетворенная заявка России на обыкновенность.	50
25. «Мы». Советские люди вернулись домой и нашли там полевых командиров.	51
26. Что такое альтернатива и альтернативность в истории? Пример погибшей предальтернативы.	52
27. Была ли у Бухарина «бухаринская альтернатива»? Исключаемые предальтернативы собираются в превентивную однозначность.	53
28. Теология безальтернативного космоса. Задано: исключить исключающего.	54
29. Человек повседневный. Борьба с повседневностью и ангел-фальсификатор в мире холодной войны. Повседневного человека вербуют в убийцы.	55
30. Опровержение заданности как опровержение смертности. Лишние исторические существа. История есть делаемая история.	57
Часть 4. Категории русской и советской истории.	59
31. Историческое невежество российских лидеров. История России состоит из цезур.	59
32. Беглецы от власти формируют власть. Русский как человек, втягиваемый во власть. Русский Мир и русское человечество.	60
33. Краткосрочность русской истории. Евразийские империи выгоняют внутреннее противоречие наружу.	61
34. Царь Иван Грозный и евразийские инновации. Государев двор, опричнина и холопы.	62
35. Злодеи развития. Царь Петр на Евразийском пространстве экспансии. Крепостничество, колонизация, самодержавие.	63
36. «Новые люди» против холопства. Просто рабы и рабы потерянной роли.	65
37. Народа нет, но ему принадлежит будущее. Листовка Чернышевского как заявка на народность. Декабристы народней народников.	66
38. Невольный компромисс князя Трубецкого.	67
39. Погоня за временем и «жертвы надменности». Выход ПУШКИНА на сцену. Завязка спора с Чаадаевым. Писатель Гоголь: мертвые души – это мы и наши товарищи.	68
40. Пушкин ищет в России личность. Царь Николай как «второй Петр». Совесть – не нравственность, личности простительно почти все.	69

41. Пушкин защищает авантюристов и едких вольтерьянцев XVIII века.	70
42. Кто такие индивидуалисты XVIII века? Князь Барятинский и русский портрет.	71
43. Пушкин «как вылитый». Оттиск его судьбы в программе русской культуры и тайной полиции.	72
44. Карамзин, историк русской власти. Трагедия слабой власти в России.	74
45. Николаевская идея Александра ПУШКИНА. ЧААДАЕВ, настаивающий на своем. Бенкендорф.	75
46. Пушкин как изобретатель диссидентства в России. Три варианта ответа на чаадаевский вопрос. Герцен. Дуэль как монархическая утопия.	77
47. Конец тирании НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. Хрупкость империи и ее успехи. Утопическая спекуляция графа Витте.	79
48. Пространство наперегонки с временем в России. Чичиков как триумфатор.	81
49. Логический тупик чаадаевского коана. Ставленники Петра Яковлевича.	82
50. Форма как заговор. Достоевский после каторги – продолжение «Мертвых душ».	84
51. Взрывоопасные банальности Достоевского. Ставрогин.	85
52. Персонажи сороковых и пятидесятих годов XIX века. Ставрогин как разрушитель идеи «Бесов».	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Михаил Гефтер
Третьего тысячелетия не будет.
Русская история игры с человечеством.

© Павловский Г. О., 2015

© Издательство «Европа», 2015

* * *

От составителя

На обложку я вынес слова, которые Михаил Яковлевич Гефтер часто повторял в последние годы жизни: *третьего тысячелетия не будет*. И это был не пессимистический жест, а справка по очередным вопросам русской истории. Гефтеровская версия русской истории вполне необычна и начинается довольно давно.

Гефтер видел в *Homo sapiens* существо, однажды неясным способом ускользнувшее от естественной видовой обреченности. Побег из эволюции через черный ход – долгое странствие, которое не выглядит жутким лишь при чтении книг из *New Oxford World History*. Мировая история по Гефтеру – это радикальная выходка человеческого существа, но не первая и, как знать, не последняя. Истории предшествовало существование, которое было человеческим, но историей не было и запросто могло бы не стать. По Гефтеру, *Homo historicus*, Человек Исторический, лишь эпизод. Еще одно отклонение в родовой судьбе *Homo*, у которого есть начало (даже не одно!) и финал. Историческими инновациями, такими как утопия, революция, церковь, нация и глобальность, человек предпринял попытку пересоздать себя. Паролем попытки стало человечество, а ее самой жаркой сценой – русская революция и советский коммунизм.

Но это не «конец истории» по Гегелю и Фукуяме. Третьего тысячелетия не будет, поскольку счет эпох от Рождества Христова значим только внутри истории, как ее датчик или метроном. На выходе время финала становится другим. Гефтер хотел понять, как мы оказались именно там, где последний трюк завершается. Кто в финальной сцене Россия – неудачливый плагиатор или великий актер, выложившийся без остатка и умерший на сцене? Неизвестно, но только тут способ говорить о России сегодня сколько-нибудь всерьез.

Может быть, главное, но почти не замеченное в том, что советское общество вместе с политической потерпело и речевую катастрофу. Гефтер первый обратил внимание, что в русском речевом поведении возник болезнетворный Двойник, бегущий от будущего, отрицая реальность прошлого. Притом его речи переполнены историческими терминами и именами. Всему этому так же опасно верить, как сантиментам невротика. Гефтер не считал фатальными самые страшные падения. Человек очень расположен злодействовать – как-то бросил он походя в разговоре. Речевое поведение важнее морального, в котором мы себя беспрерывно виним. Фатальной он считал готовность смолчать, уйти в себя, подменить ресентиментальной болтовней. Фатален только обрыв связи.

В разговорах Гефтера русская сцена очерчена такими разнопорядковыми персонажами, как царь Иван и царь Петр, Пушкин и Чаадаев, Маркс и граф Витте, Ульянов и Сталин, Платонов и Мандельштам. В два великих русских века, XIX и XX, Россия вызвалась сбываться в человечестве не смиренным присоединением, а «русским человечеством», или «Русским миром» – внедрением глобальности в повседневность. Имя надрыва хорошо известно: Союз Советских Социалистических Республик.

Сегодня РФ придумывает себе другую историю, столь пошлую, что в позапрошлом веке ее не взяли бы ни в один журнал, даже реакционный. В новой родословной РФ русских обманывают, соблазняют и даже «кодируют» под гипнозом – но нация пребыла чистой и, как Соня Мармеладова, уже хочет спасать других. Симптом ложных родословных Гефтер относил к анамнезу суверенных убийц. Перед его глазами были только ранние кавказские и югославские прецеденты. Гефтер не ждал, что массами вновь завладеет идея укрыться от прошлого в текущем моменте, но знаки беспамятства он различал. Заметкам Гефтера о Российской Федерации как плоду амнезии посвящена одна из последних глав книги.

Если многие довольно легко согласятся с Гефтером в том, что русская история суть «цепочка цезур – обрывов перенацата», то явно трудней соглашаться с тем, что *советское*

в целом есть нечто упущенное. Почему Гефтер со странной болью говорит об обществе, которое в 50-е годы «банально проводило Сталина на тот свет», – но тут же сочувственно задается вопросом, отчего среди советских 1937 года не нашлось тираноубийцы – русского полковника Штауффенберга?

Ключ в гефте ровской постановке вопроса – *есть ли будущее у прошлого?* Эта формула, как многие другие, при жизни Михаила Яковлевича его друзьям казалась излишеством. А она была лишь строкой опроса – действительно ли мы готовы остаться без будущего? Поскольку будущее никогда в истории не выросло из так называемой «современности» – нестойкого коллективного консенсуса вокруг статус-кво. Страх будущего, развернувшийся в патологии наших дней, внешне выражен во фьюжне российской амнезии. Если посмотреть спокойно, без осуждения, то модель «внедрения российского» Лужковым в Москве и Собчаком в Ленинграде никак технологически не отличима от подхода реконструктора Стрелкова к истории. Государственную современность строили вокруг идеи забыть советское и пришли к утрате умения быть русской.

Проблему Гефтер видел в том, что мы никак не выйдем из своей же финальной исторической интриги. Ставить вопрос об истории внутри нее, согласно Гефтеру, значит ставить вопрос, на который нет ответа, но сам вопрос посягает на личность спрашивающего. Проблема не в том, что с нами происходило, а в том, как мы об этом говорим. Язык, которым говорил Гефтер, оставляет открытым работу над будущим – другие языки ее исключают.

Читая эти записи, надо помнить, что с историком Михаилом Гефтером тут говорит *не* историк. В начале 90-х я был радикальным активистом. Это расспросы политика, более всего интересующегося ресурсами русского прошлого для воздействия на актуальный процесс. (Речь Гефтера и сегодня видится мне единственным русским языком, который остается открыт актуальному политическому процессу.) На мои провокации Гефтер отвечал своими «вопросами без ответа», однако невольно адаптируя их внутренний порядок и строй. Историк или философ задали бы ему совершенно другие вопросы. Но коллег не осталось – одни умерли, другие отпрянули еще в 1970-е, когда встречаться с опальным Гефтером стало небезопасно, а через 20 лет просто забыли его телефон. И если последние годы жизни Гефтера стали зрелостью его ума, то, с другой стороны, они были коммуникационной катастрофой. И вероятно, я сам был частью проблемы, ведь расспрашивая о том, что меня задевало, без уточнений пропускал интереснейшие «политически незначимые» темы. А также почти всю его историческую теологию.

Уместно ли появление в подзаголовке слова «теологический»? Думаю, да. Не только потому, что это слово меня уже не пугает. Гефтер видел историю в полюсах событий Голгофы и Страшного суда. Он полагал, что история, как выходка *Homo sapiens* – беглеца от обреченности, мистична в ее прозаичных «зачем» и «почему». Почему люди разбегались по земле друг от друга, зачем давали друг другу имена? Что за безумие было лезть в пещеру и в темноте там что-то разрисовывать? Что решает *Homo historicus* тем, что убивает, и зачем ему это страшное упрощение?

Книга заканчивается рефлексиями Гефтера о новой России и катастрофе выхода из холодной войны: провал попытки он распознал еще в середине 90-х. Человечество кончилось, а постчеловечество не дается. Ослепительная скорость финала всех отбрасывает к какому-то переначанию. И зачем отсчитывать тысячелетия от *той* Голгофы существу, которому она вновь предстоит?

Россия лишь место промежутка. Место, где человек вдруг догадался о том, что с ним случилось, и пугливо отвернулся от будущего – не исключено, что зря.

* * *

Этим томиком завершается публикация моих разговоров с Михаилом Яковлевичем Гефтером в конце 80–90-х годов¹. Он отличается от ранее опубликованных мною книг², хотя в основе и тут записи «устного Гефтера», а не его тексты. Но я позволил себе освободить записи от диалогических излишеств беседы, отобрав фрагменты, трактующие собственное видение Гефтером истории русской и человеческой. При этом я, как правило, удалял свои запальчивые наскоки (20 лет спустя мне их и самому бывает стыдно читать).

Во втором томе я надеюсь развернуть свои мысли о Гефтере, здесь же скажу лишь то, что стоит учесть читателю. Моя цель была в том, чтобы собрать и систематизировать взгляды Гефтера на русскую и мировую историю. Но едва лишнее было удалено, как выяснилось, что оставшееся не собрать в монолог «истории по Гефтеру». Тогда я просто перестал мешать этим фрагментам быть тем, что они есть – коллекцией рассуждений, тематически рассортированной. Мои вопросы сокращены и оставлены там, где этого требует форма ответа. Книга в целом от этого приняла вид большого интервью.

Читатель найдет внутри только три сравнительно полных фрагмента гефтеровского разговора – в начале (октябрь 1994-го), в середине (август 1991-го) и в конце (февраль 1995-го, за неделю до смерти). Они оставлены, чтобы показать сложное движение внутреннего диалога Гефтера на самых острых сломах перспективы. Предчувствия его, казавшиеся даже мне темными и чрезмерными, сегодня оправдались чересчур.

Гефтер ценил свои тексты, а не свои речи. Он всегда что-нибудь писал на бумаге, эти блокнотики ждут публикации. Но для меня вход в его мысли почти всегда пролегал через разговор с ним. Эта книга лишь пролегомены к его текстам. Она не претендует на большее, чем дать будущему читателю мотив обратиться с письменным Гефтером прилежней, чем сумел я. Мотив и, возможно, ключи.

Автор выражает глубокую признательность венскому институту Institut für die Wissenschaften vom Menschen за предоставленные для работы покой, безответственность и библиотеку. Разговор с ректором и создателем IWM профессором Кшыштофом Михальским (ныне, увы, покойным) об апокалиптической метрике исторического времени был важен для уяснения мной ряда темных мест Гефтера. И только в Вене я мог решиться на дело, столь запоздалое и преждевременное одновременно.

*Глеб Павловский,
Москва, 7 ноября 2014 г.*

¹ Следующий том должен выйти вдобавок. В нем помещены предметный и именной указатели и материалы о Гефтере исследовательского и биографического характера.

² Павловский Г. О. Тренировка по истории (Мастер-классы Гефтера). – М.: Русский Институт, 2004. – 192 с.; Павловский Г. О. 1993: элементы советского опыта. Разговоры с Михаилом Гефтером. – М.: Издательство «Европа», 2014. – 364 с.

Рассказ о моих пяти жизнях в ночь на 5 октября 1993 года

Я могу сказать, что прожил несколько жизней. И от каждой из жизней осталось ощущение, что это жизнь человека, с которым я просто хорошо знаком и знаю о нем несколько больше, чем все остальные. Таково мое свойство характера.

1

Сначала был провинциальный мальчик из Симферополя. Мальчик, у которого детство прошло без отца, но были мама и любимая бабушка, очень важный человек в моей жизни. Бабушка – уроженка Херсона. Ее мать рано умерла, и она как старшая дочь осталась главой семьи. Отец был рабочим на бойне. Ее выдали замуж за пожилого человека – вдовца, просветителя, устроителя еврейских школ. У моего дедушки довольно известные дети, среди которых особенно знаменит одесский юрист Герман Блюменфельд.

Роль бабушки в моей жизни не связана с религиозными или чисто еврейскими веяниями. Около меня всегда было доброе без сентиментальности существо, хорошо меня понимавшее и не стремившееся командовать. С детства обделенный тем, что есть у детей в смысле материального достатка, я чувствовал себя свободным и хорошо защищенным.

Бабушка первой приобщила меня к истории. Любимым рассказом детства была ее история о еврейских погромах в Одессе. Каждый раз, когда я просил, ее рассказ повторялся, и я уже знал, что будет дальше. С замиранием сердца ждал момента, когда погромщики приближаются к дому – пьяные физиономии, страшные уличные сцены, вопли, судорожное ожидание и кульминационный момент – с двух сторон дома выходят знаменитые одесские самооборонщики! Их звали *аиды-самооборонщики*. Они в упор стреляют в погромную толпу, та рассеивается. История впервые вошла ко мне с этим рассказом.

То были 1920-е годы. Мы были открыты совершающемуся и легко входили в новую жизнь по ее самоочевидным законам. Мы были послереволюционные дети, и революция в Крыму еще не стала вчерашним днем. Она жила в людях, в рассказах, в легендах. Вместе с тем она стала бесспорной самоочевидностью и формировала такое же отношение к жизни.

Крым – земля интернациональная. В 1920-е годы там жили немцы, болгары, татары, евреи, русские, греки, украинцы. Национального момента как значимой темы в моем детстве не было. Естественным с детства был интернационализм, который позднее так же естественно перешел у меня в космополитизм. У меня не было никакого ощущения железного занавеса – были мы, и был другой, старый мир. Но и другой мир так же реально присутствовал в моей и общей жизни. *Мир был дома*.

В школе я был активист. Меня рано повело в эту сторону – активный пионер, комсомолец, член президиума Крымского областного бюро пионеров. Жизнь не состояла только из Сталина и моей бабушки. Моей средой стали директора школ, секретари комсомольских организаций, горкома и райкома. Сомнений у такого мальчика, как я, быть не могло. Но парадоксальное явление: этот мальчик в силу того, что не сомневался, позволял себе говорить вслух все, что думает.

– **И что думал мальчик?**³

– Мальчик славился тем, что дерзит. Мы же строили социализм, где такие мальчики, как он, могут говорить вслух все, о чем думают. Дерзкий мальчик написал письмо Посты-

³ Здесь и далее слова Глеба Павловского выделены отдельным шрифтом.

шеву, жалуюсь, что местные власти неправильно обходятся со школой, где я учился. Постышев ответил мне письмом. Секретарь партячейки гороно выговаривала директору школы: «Гефтер у вас троцкист!» – а мы лишь смеялись. Мальчику везло – моя дерзость ни разу не была жестоко наказана, хотя неприятные случаи бывали.

На рубеже школы мальчик перенес тяжелую болезнь, неясно какую, после думали – энцефалит. Это отразилось на его сознании – открылись вещи, о которых до этого не слышал. Мальчик открыл для себя Пушкина, и, когда ему было очень плохо, скрывая болезнь от мамы и бабушки, он плакал, читая Пушкина. Мальчик менялся, но к политике это почти не имело отношения.

Проболел с 1935 по 1936 год, был пионервожатым в детском костнотуберкулезном санатории. В 1936 году мальчик из Симферополя едет в Москву в университет и в поезде читает про расстрельный процесс Зиновьева и Каменева. Мальчик едет с открытой душой учиться истории, а страница истории тем временем для него уже перевернулась.

2

Московский университет – тогда еще не имени Михаила Ломоносова, а имени историка Михаила Покровского. Мальчик попал на истфак, где деканом-основателем был Фридлянд – автор известнейших книг о Марате. Поскольку Фридлянд занимался Французской революцией эпохи террора, в 1937 году его самого сделали «террористом». Из окна своего кабинета на улице Герцена он якобы собирался метнуть бомбу и попасть в Сталина, в чем сам «сознался» на суде.

Первые мои месяцы на истфаке были наполнены тем, что до часу ночи шли комсомольские собрания – студентов осуждают за то, что вовремя не разоблачили родителей. Когда в Москве арестовали моего дядю, и я едва не был исключен из комсомола. Мне объявили строгий выговор с предупреждением со стандартной формулировкой: «за утрату бдительности, выразившейся в неразоблачении дяди, врага народа». Но мальчика любили и в комсомоле оставили – мальчику опять повезло.

Мальчик тогда думал так: всех арестовали правильно... кроме моего друга Жени Мельничанского! Все правильно... кроме моего Муси Гинзбурга! Когда Женю Мельничанского обсуждали на комсомольском собрании, мы ему сказали: «Молчи, говорить будем мы». Но Женя сознался, что был однажды у Томского на елке. Отец его, крупный профсоюзный деятель в Штатах, вернулся в СССР и был казнен. В «Кратком курсе истории ВКП(б)» есть фраза: «разложившаяся профсоюзная верхушка – Томский, Догадов, Мельничанский и другие». Так что Женя был из проклятой семьи – странный, глухой и очень наивный. Но его самая смерть в 1937-м обошла – Евгения Мельничанского, учителя истории из Ижевска, где он проработал всю свою жизнь и недавно умер.

Вот такие мы были мальчики. И защищали, и возражали, и иногда даже некоторым из нас это сходило с рук. Я вправе сказать, что мальчик Миша Гефтер учился на истфаке в неплохое для него время. Курс был замечательный. Почти не было рабфаковцев и «парттысячников» – курс мальчиков и девочек, только окончивших советские десятилетки, медалистов. Поначалу на курсе столичные задирали нос, но вскоре утвердились мы, провинциалы.

Мальчик был комсомольский деятель, изучал историю революций, но за ним водились странности. Так, будучи атеистом, я ожесточенно спорил в общежитии о том, что Христос – реальное историческое лицо. У мальчика был свой взгляд на русскую историю. Когда только пошла патриотическая волна, мальчик редактировал студенческий научный бюллетень, где подвергал зубодробительной критике «Александра Невского» Эйзенштейна и подобные вещи.

Но вот пришел 1939-й, памятный год в жизни мальчика. Миша Гефтер – общественный деятель, сталинский стипендиат. Его кормит советская власть, он любимец тоталитарного строя. Как вдруг в августе 1939-го СССР вступает в пакт с Гитлером – страшное событие в жизни мальчика! Плохие события почему-то случались вокруг моего дня рождения, в конце августа.

До этого один эпизод в самом детстве впервые заронил страх в мою душу – у дома напротив ночью убивали человека. А в Крыму на окнах ставни, и по ночам их наглухо закрывают. Человек бился в запертые ставни, ему не открыли. Выбежав утром с мальчишками, я увидел на стекле отпечаток кровавой ладони. С этого времени мальчик познал страх. Страх вошел в его жизнь, и всю остальную часть жизни он станет ему противиться.

Пакт 1939-го тоже обернулся страхом – мальчик испугался, что потеряет веру в этот родной ему антифашистский строй. В общежитии мы до утра спорили, даже переставали разговаривать друг с другом из-за проклятого пакта. Возникло новое отношение к сражающейся Англии. Для мальчика сопротивление Англии стало великим событием его личной жизни. Тогда, в 1940 году, я последний раз был дома в Крыму и в последний раз видел живыми свою маму и свою бабушку.

Вторая жизнь закончилась прологом сомнения – страхом потерять веру. Я произнес антифашистскую речь на комсомольском собрании в «Коммунистической аудитории» факультета, где читал лекции сам Василий Иосифович Ключевский, и меня проводили овациями. Я вслух говорил антифашистские резкости – меня не тронули и не посадили, а ведь шел сороковой год. Так что дети тоталитарного режима бывали разными.

3

В 1941-м началась третья жизнь мальчика – война, где мальчики уже не мальчики. В двадцать три года я стал командиром студенческого батальона МГУ на строительстве оборонительных сооружений вдоль линии фронта. Принимал самостоятельные решения, впервые головой отвечал за жизнь товарищей. Никакого особенного героизма не было, но вроде справлялся. И тут на том направлении, где мы стояли, началось главное немецкое наступление на Москву. Я имел грузовик и, вывозя своих, по глупости попал к немцам в руки. Всего на час, но и это стало событием в жизни для мальчика.

Вот юноша Гефтер стоит на шоссе, 4 октября 1941 года, машина забарахлила. Смоленская область, ясный голубой день после двух дней бомбежки. Он стоит на шоссе, а навстречу по обочине бредет красноармеец. Я спрашиваю его: «Что там такое?» – «В лесу уже немецкие танки». А я ему, каюсь, не поверил! Это теперь навсегда в моей жизни – голубое небо, полная тишина, а в леске напротив – вражеские танки. Так я стал понимать, что в истории все может случиться, особенно с теми, кто верит, не смея сомневаться. На своем грузовичке я и попал к немцам в лапы, но сбежал, успешно перепрыгнув кювет. В чей-то дом, к счастью для меня, не пустили хозяева, и я с остальными, со своим лучшим другом, который позже погиб на фронте, пешком дошел до Малоярославца. Здесь я остался один и уехал в Москву за пятнадцать минут до сдачи Малоярославца. В Москву прибыл знаменитой ночью на 16 октября 1941 года – дня паники, эвакуации и бегства начальства из столицы. При обороне Москвы записывал в блокнот свою первую философию истории, считая, что здесь под Москвой решается судьба рода человеческого.

Изменился ли я? Мои перемены теперь носили, как принято выражаться, экзистенциальный характер – для них требовалось личное страдание. Попал к немцам, ушел от немцев – это еще не страдание. Страданием было, когда мы с другом, идя от Малоярославца, впервые увидели в небе наш самолет с красными звездами: мой друг плакал – а я нет. Вот что было страданием.

Война для меня из-за тяжелых ранений в августе 1942-го оказалась недолгой. Мучительных воспоминаний немного, вот два штришка. Первый. 1941 год, мы уходим от немцев, те идут по пятам – деревня, высоко стоящий дом. Я, мой друг Валя Вайсман с каким-то майором выходим из окружения. Навсегда запомнил фразу майора. Он был кадровый военный и мне сказал: «Ты думаешь, это Гитлер на нас идет? На нас тридцать седьмой год идет!» А мне нечего было ему ответить.

Еще одно воспоминание, из самых страшных – бомбежка госпиталя. Наша палата большая, люди без рук, без ног, а то и без того и другого. Рано утром началась бомбежка. Представьте людей, которые с трудом сбрасывают себя с коек и, ампутированные, ползут по полу. Мы накрывались простынями от кусков летящего стекла, а у окна – *лицом к нам!* – медсестричка, которая ничем не может помочь.

Моя война кончилась. В 1943 году был списан из армии по тяжелому ранению, вернулся к истории. Потерял близких – их всех расстреляли немцы в Симферополе, уничтожая крымских евреев.

Молодой Гефтер растерян. Он знал, что теперь должна начаться новая жизнь, но любимый друг погиб, погибли родные и почти все друзья. Он не знал, как сложится его жизнь, и чувствовал себя одиноким, хотя до этого ему казалось, что он знает все. Жизнь надо было устраивать самому. Внешне я был тем, чем и раньше, – активистом, теперь партийным. Работал в ЦК комсомола, из-за ранения часто и много болел. Впервые серьезно занялся историей в аспирантуре, где стал учиться думать, хотя внешне это было не очень заметно. Я чувствовал тяготение к актуальным темам, но появилось *нежелание* писать в диссертации обо всем, что лично меня глубоко задевает. Пришлось перейти на экономическую историю.

Я учился в аспирантуре, когда написал письмо Сталину о том, что Вознесенский в своей знаменитой книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» не прав, когда писал, что Вторая мировая война стала справедливой только в 1941 году. Я считал, что война стала справедливой в силу сопротивления поляков и англичан Гитлеру. Меня выгнали из института, имела значение и пятая графа, но мне опять повезло – я понравился работнику ЦК, которому поручили объяснить мне мои ошибки.

Этот человек вызвал меня и долго объяснял, что я абсолютно не прав, что у англичан буржуазный строй и т. д. Но ему я понравился, хотя он жаловался, как меня трудно переубедить. Он вскоре умер, хороший был человек. По его звонку меня взяли на работу в Институт истории.

Начались плохие вещи, по отношению к которым следовало самоопределиться. Понимание пришло не сразу, и тут Гефтер иногда выглядел не лучшим образом. «Борьба с космополитизмом» была вещью жестокой – можно было пропасть, а можно подняться наверх. С войны мы вернулись военным поколением – поредевшим и с большими утратами, но сильным. Сталину удалось превратить поколение победителей в расколотую на части, атомизированную массу. Впервые нас так грубо, резко и успешно поделили по национальному и иным признакам. Связанным с жизнью, карьерой, покорностью и т. д. Такие вещи не проходят даром. Моя боль выражалась не столько в переоценке строя, сколько в несогласии и сильном, глубоком страдании от того, как мы себя выдали на моральное растерзание. Могут сказать, что это от того, что я еврей, – нет, только отчасти. До моего еврейства дело тогда не дошло. Уже умер Сталин, а я еще каждую ночь просыпался от стука в дверь, хотя Сталина не было.

Не думай, что я обрадовался, когда Сталин умер. Не помню точно, но, вероятно, я плакал и, во всяком случае, сильно переживал. Страданиями я менялся. Вероятно, стал другим и шел к чему-то, чего еще не знал. Это какая по счету жизнь – уже третья? Где-то здесь она обрывается.

4

Для моих ранений и моей контузии я слишком трудно жил. Один умный доктор сказал мне: «Человек, который так живет после такого ранения, долго не проживет». Его прогноз немножко не оправдался, хотя в 1956 году я заболел настолько, что ощутил себя смертником. Три года почти не мог работать, практически я не жил. На карачках доползал до письменного стола.

Заболел я на почве оскорбления. Оттого что сам, опоздав освободиться, когда с XX съездом освобождение пришло сверху, я его не принял. Я по сей день не приемлю свободы, приходящей извне. Постепенно во мне начались некоторые умственные подвижки, и я стал одним из главных действующих лиц в проекте большой советской «Всемирной истории». Тогда началась моя четвертая жизнь.

Теперь ко мне долго благоволили. Я добился от ЦК официальной реабилитации народничества и так далее и тому подобное. Работа над «Всемирной историей» была важна. Я вдруг обнаружил, что не могу как марксист увязать воедино истории разных стран и народов. Что-то опять передумывалось, и страдание опять ворвалось в мысль. Каким был итог? Итог был тот, что надо говорить вслух то, что думаешь. Теперь этот не очень молодой человек Михаил Гефтер знал, что может сильно пострадать, но уже не мог иначе. Что-то начало сопротивляться тому, чтобы жить как живется.

В Институте истории я вел сектор методологии истории. Идея, которой я заслужил пристальное внимание Лубянки и будущее изгойство, сегодня звучит банально: *новое прочтение марксизма*. За мной обнаружился страшный грех отрицания исторического материализма, *истмата*. Я утверждал публично и вел сектор на основе принципа, что *теории истории вне исследования истории нет и не может быть*. Что «общие законы», для которых история, творимая и влекущая людей, является лишь иллюстрацией, – это отмена исторической науки. И я твердил, что нельзя остаться на почве знания и понимания, не рассмотрев открытыми глазами все, что пережил коммунизм после Октября и во времена Сталина. Сталин неслучаен для коммунизма, утверждал я.

Так я стал *инакомыслящим*. Но инакомыслящий заведовал сектором методологии Института истории АН СССР! Быть инакомыслящим в фаворе – очень странная роль. Я был членом редакции первого тома «Истории КПСС», и академик Пospelов говорил: «У меня ни разу в жизни голова не болела, но когда я говорю с вами, у меня раскалывается голова!» Инакомыслящий в фаворе, легитимный диссидент – странная, нестойкая помесь. Сказавши «а», надо было идти к «б» – иначе заболеешь и снова рухнешь на больничную койку.

Руководя коллективом историков, я отказался от задания написать историю Октябрьской революции – на том основании, что при нынешнем уровне знаний в рамках марксизма ее написать нельзя. Начинался коллективный поединок Института истории АН СССР с отделом науки ЦК КПСС – противостояние внутри системы, равного которому в СССР 1960-х годов не было. Целый академический коллектив открыто противостоял Кремлю и всевластной тогда Старой площади. Кончилось тем, что нас примерно наказали – Институт истории разбили надвое, и он с тех пор нелепо разбит на «всеобщую историю» и «русскую».

Шел 1970 год. В этой четвертой жизни – мой биографический взлет, мой звездный час. Такого коллектива, как сектор методологии, и того дыхания, что было у Института истории в те времена, потом в русской исторической науке не было и нет по сей день. Это большое счастье, хотя в то время я был уже очень больной человек, почти инвалид.

Последней акцией моего сектора стал сборник о Ленине, рассыпанный в верстке. В нем – моя статья, послужившая окончательным поводом к отлучению от советской науки. Эпиграф из Пастернака сочли по меньшей мере неуместным. «Он управлял течением мыс-

лей, и только потому – страной». Сказали, что так писать о Ленине бестактно, а статья, хоть и осталась ими непонятой, была сочтена ревизионизмом. Один важный на Старой площади человек, который мне до этого покровительствовал, Анатолий Черняев, сказал: «Михаил Яковлевич! Это уже не новое прочтение марксизма – это ваше!» И после этого на годы забыл мой адрес и телефон.

Я не входил в партбюро Института, но достаточно влиял. Имел несчастье первым выступить с публичной критикой заведующего отделом науки ЦК Сергея Трапезникова. За мной уже числилось и много другого. Я единственный человек в СССР, которому партбилет при всесоюзном обмене вручили в последний день. Требовали, чтобы я признал ошибки – какие угодно! Мне предоставлена была великая советская льгота – самому придумать свою «ошибку» и ее безопасно признать. Я отказался.

Меня не выкинули из партии, в последний момент дали партбилет. Не выкинули из института, но лишили сектора и права печататься. Однако зарплату платили. И я почувствовал, что все это настолько тягостно, что так можно снова заболеть, как в 1956-м. Четвертая жизнь кончилась тем, что в 1976-м на правах инвалида войны я ушел из института на пенсию. Уйдя, я стал, с одной стороны, свободным пенсионером, с другой – бедняком и преследуемым человеком. Я принял участие в двух последних больших самиздатских проектах – журналах «Поиски» и «Память». Стал диссидентом уже по всей тогдашней форме – с обысками, с арестами друзей.

В 1982 году вышел из КПСС, но очень скромно, без всяких заявлений о противостоянии. Написал короткое заявление, что в соответствии с Уставом партии, предусматривающим добровольное вступление, а стало быть, и добровольный выход, прошу с такого-то числа не считать меня членом КПСС. Ранее я этого не делал лишь потому, что не желал ставить бывших коллег в скверное положение, когда им пришлось бы голосовать за мое изгнание из партии.

К тому времени арестовали всех моих молодых друзей. Валерий Абрамкин, Виктор Сокирко и Глеб Павловский из «Поисков». Сеня Рогинский из редакции «Память». Я решил поставить точки над *i* и отправил письмо генеральному прокурору с требованием освобождения политзаключенных.

5

Итак, я перешел в свою *пятую жизнь*. Я не стал антисоветским, вообще приставка «анти» меня оскорбляет. «Анти» – это мордобой, я в таком не участвую. Я стал собою, перестав писать, как раньше писал. Моей профессией в истории становятся *вопросы без ответа*.

Можно прочитать у Черняева о том, как реагировал Горбачев, когда они вместе читали мое письмо об освобождении политзаключенных. Говорят, оно сыграло некую роль, и я этому счастлив, но думаю, главную роль сыграла смерть Анатолия Марченко. Он несколько месяцев голодал в Чистопольской тюрьме и там умер от голодовки. Наверное, Горбачеву объяснили, что Сахаров такого не перенесет, объявит очередную голодовку и на этот раз, вероятней всего, тоже умрет. Когда вернувшийся Андрей Дмитриевич прочел мое письмо к Горбачеву на эту тему, он сказал: «Ну, лед тронулся».

– Какая эволюция шла в твоём политическом мировоззрении и настроениях периода перестройки?

– До 1987 года внешних перемен в моей жизни нет. Без работы, без денег, без публикаций – только одна сторона, и не самая важная. Зато теперь я думал сам.

Поначалу перестройка мне не понравилась. Мне казалось, что все должно происходить иначе. Моя программа была короткой. Первое – немедленно вернуть всех диссидентов их семьям. Второе – выпускать из СССР желающих и обратно впускать. Третье – дать думаю-

щим людям печататься независимо. Вот и вся моя тогдашняя программа. Меня не увлекали ни «ускорение», ни «борьба с алкоголизмом». Но мне понравилось, что у Горбачева есть помощник Толя Черняев, которого, если про мужчину так можно сказать, я любил. Он и правда хороший парень.

В 1987 году, когда вернулся из ссылки Глеб Павловский, мы сделали мое интервью в журнале «Век XX и мир» под заголовком «Надо ли нас бояться», на котором цензор написал: «Автор считает, вероятно, что надо?» А председатель КГБ Чебриков по поводу этой публикации написал специальное письмо Горбачеву, чтобы тот обратил внимание на вредную статью. (Потом для сборника «Иное не дано» я интервью расширил под названием «Сталин умер вчера».)

Ничего этого я тогда не знал, потому что сам – умирал, у меня был инфаркт. В тот момент пришел мой смертный час, я стал умирать, но благодаря врачу, которого упомянул бы в любой биографии, остался жив. Началась та жизнь, которая идет и по сей день. Жизнь, в которой я пришел к другим идеям и мне все видится в несколько ином свете.

– **В ином свете видится и марксизм?**

– С Марксом у меня общий предмет – человечество. Я свой предмет в окно не швырял. А кто вышвырнул, думаю, себя обеднил.

Когда мой сектор закрывали, а я отказался писать челобитную в ЦК, чтобы чуть продлить его существование, я уже знал: если хочешь быть независимым человеком, за это надо платить. И в диссидентские времена я знал, что, если я в общем ряду диссидентов, это не означает согласия с каждым. Ныне я утвердился в своем праве и возможности быть *аутсайдером*. Полагаю, малые группы людей нужны нашему роду, чтобы остаться родом человеческим. И аутсайдеры показаны мысли, чтобы та оставалась мыслящей. Я не избирал себе амплуа, просто иначе я не могу. В данный момент я переживаю сильный внутренний кризис – то ли зажился, то ли еще раз пора все начинать с начала? Я не сторонник клоунад и политических фраз ради фраз, но у меня есть чувство ответственности и за то, к чему я не причастен. Какая-то моя жизнь кончилась в ночь с 4 на 5 октября 1993 года. Стреляли не в меня, а попали в меня, человека и историка. Кое-что теперь я должен выговаривать иначе. А может быть, и иначе думать.

Часть 1. Теология исторического и ее политика

1. Саморастворение в истории. Мышление вопросами без ответа.

– Читателю трудно примириться с твоими текстами, где суждения историка всегда так переплетены с суждениями о себе и личными воспоминаниями.

– Иногда должно пойти путем, который самому кажется научно незаконным, индивидуалистичным и субъективным. *Некий человек я*, определенным образом формируясь, вложился до саморастворения в некоторый мир. Мир стал рушиться с легкостью, оскорбительной для саморастворенного в нем существа. Существа, которое принимало все, и ужасное этого Мира, касавшееся самых близких, как цену чего-то абсолютно необходимого всем. Как частность исторического масштаба.

Этим он поощрял себя к поступкам, которые, вообще говоря, имели бы для него плохие последствия; но саморастворение охраняло. Потом вдруг обвал, катастрофа. И катастрофа эта – легковесных отречений, которые видятся ему мнимыми. Происходящее с собой естественно вписано в тот же масштаб, что прежняя самовключенность, и в объяснениях уже нельзя ограничиться чем-то банальным. Он вынужден идти дальше и дальше – пока не дойдет до пределов Мира, в котором действует *Номо historicus* и который этот Номо создал.

Мир рушится, и это возвращает мою мысль к Миру, где человек явился впервые. Миру, который создал его и который им создавался.

Разве это личная трудность? Разве это лишь частное крушение при общем крушении обанкроченной жизни, перед тем еще и опозоренной гнусностями системы? Или это глобальное возмущение, в универсальности которого у меня нет сомнений?

Я долго не умел называть вещи их именами. Путался, искал ответ в пределах речи, которой говорил, – не замечая, что язык мой начал меняться и я уже не смогу писать по-прежнему. Тогда я начинаю импровизированно и все упорней писать иначе. Что по совпадению обстоятельств 1950–1960-х годов – «Всемирная история», сектор методологии Института истории АН СССР и так далее и тому подобное – привело к тому, что у меня меняется весь взгляд на историю. Поначалу еще недотягивая до взгляда на существо истории человека, но в нем начинают главенствовать образы исторических отклонений, все эти евразийские кентавры, Атлантиды Платона и декабристов, Россия Маркса и Ленина.

Вот моя мыслительная ситуация, как я теперь ее знаю. В чем истинная трудность? В том, что, получив первые ответы, я поначалу затвердился в них и стал их исповедовать, наставлять, в силу этого стал повторяться.

В сущности, застрял я на *вопросах без ответа*. Они, знаешь ли, странная штука. Не в том застревание, что, мол, пора бы на них и ответить. Нет – пора поставить вопрос о *природе вопросов без ответа*. Вышел ли я из этих занимающих мое любопытство трудностей, когда начал мыслить вопросами без ответа? Или, шагнув в эту сторону, я еще раз застрял?

2. Коллективное прозрение, освобождение сверху и исчерпание истории.

– Суждение из средневековой еврейской каббалистики, не помню чье, – что зла вообще нет, зло – это не востребованное добро. В оболочке зла добро действует как не востребованное. И мое личное чувство исчерпания истории, ее финальности возникло очень личным путем и было связано с тяжелой болезнью, пережитой в конце 1950-х годов.

– **Она кончилась для тебя лично, или ты познал ее как оканчивающуюся?**

– Я уже не мог от этого уйти. Это стало наваждением, я все теперь видел в свете окончания истории.

– **А откуда вообще у тебя явилась идея финала истории? Когда мы встретились в 1970 году, она уже была, и на ней мы легко сошлись. Из Гегеля или от Маркса «коммунизм есть решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение»?**

– Нет, от сознания интеллектуальной катастрофы. Катастрофа заключалась в том, как же я не разглядел того, что было на виду и в чем участвовал? Как мог я отдаться тому, чему нормальному человеку отдаваться нельзя? А раз отдавался, то обязан теперь себе объяснить, *в силу чего?* Что повело меня к этому – карьеризм или страх? Или сложная смесь нескольких интеллектуальных страстей?

Но еще сильнее было отвращение к современникам, которое я скрывал. Откуда такой соматический срыв? Потому что я не смел поддаться чувству искреннего отвращения, которое во мне рвалось наружу. Отвращения к тому, как советские люди торопились *коллективно прозреть*. Я не выпускал неприязни наружу, я с ней боролся и надорвался в борьбе. Все во мне клокотало против этого облагодетельствования освобождением! А ведь, казалось бы, все шло навстречу, даже лично – реабилитация любимого дяди... Все было так комфортно, но над всем довлело уже нечто бедственное. Начавшая рушиться сталинская система виделась мне столь масштабной, жуткой и столь глобальной, что я отверг спущенное сверху и раздаваемое по мелочи освобождение. Даже в тех случаях, где оно действительно было освобождением, я предчувствовал неопознанный нами обман. Западню, куда мы поспешим провалиться. Но я не давал этим мыслям выйти наружу, еще и боролся с ними в себе, пытаюсь одолеть. И мой контуженный мозг, мои ржевские раны не выдержали.

Почему я отказывал «коллективному прозрению»? Ведь на отказе теперь свихнулся сам автор термина, Юрий Власов. Так же свихнулся тогда и я, но иначе. Мне казалось, что я не смею более существовать как человек, если цепь мировых событий, где восставали и гибли люди, открывались горизонты слова и преображались континенты – где вмиг погибло мое поколение! – все это уходит, как пустая бессмыслица. Мне не жаль было уходящего, это глупо. Я не испытывал тоски по прошлому. Я испытывал чувство двоякого оскорбления: ничтожеством своей втянутости и еще больше – *дешевизной освобождения сверху*.

Ошибкой было бороться с этими переживаниями, не дать им выйти наружу – и они вышли страшной болезнью. Только болезнью я узнал о нас нечто новое. Когда три человека в Беловежской пуще отменяют Советский Союз, я это прямо ввожу в то, что кончилось нечто тысячелетнее – Землю оставила идея человечества как вневидового родства людей. Идея покидает мир вот таким именно образом: покидая, не уходит, – но творит комиксы Беловежья, с куклами старосоветских персонажей и иные сложные мистификации Homo sapiens.

3. О времени, параллельном мире и немотивированности человека. Будущее прошлого.

— Разве история — это «все, что менялось во времени»? И есть история Млечного пути, история амебы? Нет. В строгом смысле, история бытует в единственном числе — *всемирная история однократна*. С условно иудеохристианского рубежа, в его сложной связи с азиатскими очагами, история строилась как *проект человечества*. Проект столько всего дал людям, но оказался неосуществим, ведь в зародыше его — утопия. Вневидовое родство людей не состоялось в виде человечества, хотя и не исключает далее других видов осуществления. В этом драматизм переживаемого момента.

Человек ведет большую, незримую и опасную игру в прошлое (в которое люди не могут не играть). Ставка в игре — *встреча*, не более. Не думайте добиться большего — это максимум, это идеал! Все, что нам нужно, — встретиться с прошлым, но только не влезайте в него! Не пытайтесь заместить своим резонерством, судом и убогими поучениями жизнь ушедших людей — она сильнее вашей. Прошлое сильнее всех вас, живущих.

Существенные моменты, разъясняющие места преткновения историка, — *немотивированное* появление человека думающего; необъяснимое появление речи; непонятное разбегание людей по лику и лону Земли.

Когда мы эти три вещи сопоставляем, мы обнаруживаем связь между тем, что люди, заговорив, обрели странное свойство — *длящегося* и не имеющего пределов понимания. Речь сняла предел понимания. Понимание делается бесконечно варьируемым, углубляемым, но и бесконечно затрудненным для себя самого. Воспроизводящим пороговые трудности, рубежи, до которых понимания не было, — здесь вам не плавное течение мысли.

Внезапность появления кроманьонца, человека, совершенно ничем от нас не отличающегося. А физически даже в лучшую сравнительно с нами сторону. Мы, видимо, потеряли и продолжаем терять многое из того, что он умел и что соответствовало тому, каким он создан. Его появление не выводится из предшественников целиком, а значит, *вообще никак не выводится*. Это я связываю с речью, по отношению к которой определенно известно нечто негативное — что та принципиально отлична от всех видов коммуникации любой сложности. Это, кстати сказать, сегодня подтверждается тем, как перегруженно-интенсивная, перенасыщенная глобальная коммуникация отупляет человеческое понимание. Разрушая изнутри самоё речь, она начинает мешать выживанию Номо.

Если все эти моменты рассмотреть вместе, они неизбежно приобретают вид *одномоментного* происхождения человеческого существа. Разумеется, оно имело свои прологи, преддверие, свой генезис, и все было где-то увязано с временем. С этой точки зрения идея Achsenzeit (осевого времени. — Г. П.) у Ясперса интересна ничуть не его конкретными приложениями, а *увязанностью прачеловека с временем*.

Возникает мысль: а что, собственно, собой представляет история? По отношению к тому бытию человека — *уже человека!* — которое было *еще доисторическим, предысторическим и протоисторическим*? И которое также ни из чего не выводимо. Я уж не говорю — *несводимо*, это само собой, но и не выводимо прямо из предшествующего состояния. Какую бы роль ни сыграли так называемые «случайности» (а те занимают в истории грандиозное место, требуя ввести их в самый предмет исторического), история немыслима вне осознания. Она немыслима вне таких созданных человеком мыслительных конструкций, как *прошлое и будущее*. Потому что прошлое и будущее с точки зрения их временного протекания не сводимы к физикалистскому времени макромира.

В сущности, есть три времени: время макромира, с его размеренно-календарным протеканием времени; скажем, «тривиальное время». Есть микромир, где все приобретает све-

товые скорости. И есть мир человеческой мысли, трактуемый мной как *припоминание*. За невозможностью по-другому представить его движение, при негодности для этого таких слов, как озарение, наития или сны. Вообще говоря, человеческий сон – одно из оснований человечности, сопоставимое с речью. И воспоминания во сне играют роль, и сама терминология снов существенна.

Про историю важно знать, что та возникает *сама*. Прошлое и будущее возникли единой. Собственно говоря, как бы возникла история, если не возникает то необычное состояние, которое трактуют как *состояние прошлого*? Как особенную встречу воспоминания, которое *вводит нас в то, чего не стало*? И в чем смысл будущего, по отношению к которому заранее дано, полагается, что оно в чем-то выше, достойнее того, как человек живет «сегодня».

Будущее не просто то, что предстоит. *Будущее – то, что предстоит, выбранное из некогда отбракованного в прошлом, чего не стало и не вернется уже никогда*. Из такого модуса будущего и возможно истинное припоминание прошлого.

– **Становление системы есть движение от энтропии, от хаоса к какому-то информационному порядку.**

– Прости, но суждение о будущем антиэнтропийно всегда. Это преодоление, полагающее само понятие будущего. Ты можешь мыслить будущее как угодно, представляя его в сколь угодно живых, конкретных образах! На игре в это построена масса вещей, и без нее, кстати, невозможна идеология.

При мышлении будущего само течение времени реально меняется. Когда задумаешься о том, что предстоит, время уже не протекает так, как оно протекало. Войдя в себя, вдруг обнаруживаешь, что оно и текло иначе. *Инопротекание времени и есть прошлое*. Если истории нет, откуда эта принципиальная аритмия времени, откуда его уплотнение? Эти дни, часы или годы, которые по масштабу событий, по необратимости происходящего равны векам. Но что такое историческое *событие* с этой точки зрения?

В истории дан модус узурпации этого параллельного мира. История – это попытка построить человеческую жизнь, которая не может состоять из одного только сознания и мышления. Она не равна только эволюционности и вневидовым актам существования. История есть попытка втянуть всю жизнь в акт ее осознания и сказывания.

С этой точки зрения история возникает единой. Она однократна. Тогда можно представить, отчего она иссякает в настоящее время. Ведь то, что представлялось высшим для человека – мышление осознания, принужденное к растворению в повседневности, – неизбежно приобрело зловещие свойства.

Пора посмотреть, что такое вопрос без ответа. И не-церковная идея параллельного мира, которая, впрочем, тесно, интимно соприкасается с теологией. Эта идея не прихоть обстоятельств. В тот момент, когда вопросы без ответа стали связаны с моим существом и моим именем, во мне проснулось еврейское начало в каком-то староеврейском смысле. Светлана Неретина отчасти права, называя мои взгляды *исторической эсхатологией*, что-то в этом действительно есть. Но как бы мне при этом не оттолкнуть свою идею не *конца*, но *исчерпания истории*? Поскольку сама история есть вид *узурпации параллельного мира* – с переносом его скоростей во внешнее действие и с попытками универсального овнешнения.

Мое любимое место из гегелевского «Введения» в его «Философию истории» о хитрости абсолютного разума, ты ведь его помнишь, правда? Если этот абсолютный дух – в котором нет начала, поскольку он уже есть, и его дело в том, что он движется к себе-имеющемуся, от полноты, которой недостает рефлексии, чтобы полнота стала человеком – осознанно, принято, – чего недостает? И когда Дух овнешняется, он застревает в человеческой истории и не может освободиться из застревания вне людского содействия, которое по при-

роде человека – природе, именуемой *страстью*, – не может не быть избыточным, а избыточному нельзя не стать падением, самопокараанием за избыточность!

И как тогда звучат эти последние строчки из «Феноменологии духа»? Когда абсолютный Дух возвращается уже к себе после всей своей одиссеи, после своего трудного путешествия. Он возвращается к себе, уже равнопринятому, равнораскрытому рефлексией и отождествленному в соответствующей этому форме человеческого устройства жизни. Он не может не оглянуться назад, и это воспоминание есть его Голгофа, без которой не могло быть его полноты.

Место знаменитое, хрестоматийное, и никакой заслуги в том, что оно сразу засело в моем сознании, нет, но оно стало очень личным. Мистика этих слов меня всегда увлекала. Именно в 1950-е годы, годы десталинизации, для меня очень личным стало овнешнение, застревание, эта *страсть наказания*. Это и есть *историческая теология*. Поскольку, если человек узурпирует и овнешняет параллельный мир, в свете этого можно, наконец, подобрать ключ к иероглифу: *будущее прошлого*.

– **Этот иероглиф твой был для меня всегда особенно труден.**

– Будущее прошлого находится в принципиальном несовпадении с двумя банальностями: *все, что было*, и *все, что предстоит*. Банальности эти не только не прошлое и не будущее – они им перпендикулярны и просто лживы. Здесь не календарные – здесь другие скорости, другая природа самого времени. Тут иное время самого человека. И тут же размещено то самое, что сопротивляется истории, – человеческая повседневность. Она сопротивляется своей регулярностью. И тут же обитает культура в ее вечном споре с историей. Споре, который пытается вынести повседневность на сцену разыгранных трагедий, а трагедию – в избывание горя без крови и жертв.

4. Публичные девки случайности. Детерминизм и ужас финального результата. Происхождение мужицкого царя. Поражение Ленина и поражение Ганди.

– Ты уже несколько раз обращался к теме случайного – как незаданного, однако задающего ход истории.

– В одном романе есть точный афоризм о случайности: что она такое? Случайности – это публичные девки, но и они гуляют по хорошо известным местам. Отменно! Значные места предопределенности и роль случаев, которые заводят махину истории, распая детерминационную похоть. Отсюда родом все суперперсоны политиков XX века.

– Я в восторге от афоризма! А можешь привести пример, как в XX веке находят гулящую девку?

– Изволь, известный пример. Едет Ленин в Россию, апрель 1917 года. Едет безумный утопист с установкой делать в России мировую революцию. Он все рассчитал, уже написаны пять «Писем издалека». Он едет в Россию, зная, что его партия не готова, не говоря про остальных. На подъезде к Петрограду спрашивает: время ночное, мы найдем извозчика? Встречающие говорят: «Владимир Ильич, что вы, какие извозчики! Увидите, сколько народа вас ждут!» Биографы не сталкивают между собой эти два факта: Ленин уже знал нечто, ради чего должен переломить всех, начиная с близких товарищей, – но не понимал еще, чем стала жизнь массы людей в России. Он вообразить не может себя через час – на броневике, говорящим речь перед стотысячной толпой!

Вот другой случай. Накануне октябрьских событий Ленин сидит взаперти, скрывается от Временного правительства. Те его настойчиво ищут, а это изолирует его от ЦК. Добравшись до Смольного, он находит там подлинного властелина событий – Льва Давидовича Троцкого. Ночью, когда формировали правительство и придумывали, как называть его членов: министры, комиссары, народные комиссары, – эта бумажка сохранилась – Ленин сказал Троцкому: главой правительства будете вы.

– Тот отказался – вроде по «5-му пункту»?

– У Троцкого вечная отговорка – мне нельзя, я еврей. Таким образом он отказался от Предсовнаркома. Когда назначали председателем Реввоенсовета, он опять было стал возражать: как так – еврей во главе русской армии? Ленин говорит: «Лев Давидович, еще раз такое скажете, и я буду настаивать на исключении вас из партии. Чтобы вы больше этот личный вопрос никогда не поднимали!» Когда Ленин умер, Троцкий если и мог выиграть бой, то только по национальному вопросу, где покойник оставил ему козыри. И опять его остановило, что он как еврей не смеет давать бой великорусскому национализму, даже красному большевистскому. А не ставши на этот путь, Троцкий далее терял все. Говорят: Троцкий не победил, ему Сталин не дал. Да не мог победить Троцкий – *он не хотел побеждать!*

Итак, вышел Ленин из блокады, а в ЦК готовятся к заседанию 2-го съезда Советов. Гениальна политическая идея Троцкого, соединить съезд с восстанием в Петрограде. По вопросу о земле – это, кстати, еще мы раскопали в нашем секторе – доклад сперва поручают делать Ларину и Милютину. Грех покойников обижать, но я легко представляю этих догматиков, особенно сумасшедшего Ларина. Что они от имени РСДРП(б) предложат мужицкой России? Какие-то совхозы! Но в последний момент появился Ленин, и вопрос о докладчике отпал: о земле вправе выступить только он, это ясно всем. Ленин идет к трибуне – он совершенно не готов! Тогда он просто достает из кармана эсеровский наказ о земле, добавив к нему пару вступительных фраз, его зачитывает – и все! Игра сыграна. Программой большевиков стал наказ мужиков-эсеров – а в Советской России появился мужицкий царь.

Ну а если б Ленин еще день пересидел в подполье и эти двое ортодоксов выступили с национализаторской программой РСДРП(б)? На этом для Ленина и большевиков все бы кончилось. Вот что такое *история*: встреча несовместимых. Историческое начинается там, где вещи, доселе не совместные, оказываются совмещены! Таинственная вещь, но если этого не понять, не занимайтесь историей.

В момент, когда несовместимое станет совмещено, является харизматический лидер. Человек, который извлек из кармана чужой наказ и объявил его всей России как программу советской власти. Совпадающую с политической монополией большевиков.

– Да, случай красив. Но согласись, что случай чертовски кровав. Махатма Ганди этого не одобрит.

– Но почему? Почему? Ленина и Ганди роднит спонтанность главного хода и немыслимость выбранных средств. Плюс интуиция Мира в рамках локальных задач.

Известнейший случай 1930 года. Индийский национальный конгресс в противоборстве с Англией зашел в тупик – лидеры в тюрьме, мирные средства исчерпаны. Радикалы берут верх, ради независимости прибегая к самым свирепым действиям. Тогда Ганди идет к берегу моря и начинает выпаривать соль. Призвав народ Индии делать то же – не покупать соль и не платить налогов британской короне.

Ганди, нашедший не прямой ослепительный выход из плохой ситуации, подобен Ленину осенью 1917 года. Россия уже перестала существовать. Власть и фронт рушились, мужик на селе озверел и никого не слушал. Ленин, который просто взял наказ о Черном переделе и озаглавил его «Декрет о земле», – чем не Ганди, выпаривающий морскую соль?

Теперь погляди на результат. *Разве результат Ганди не страшен?* Миллионы убитых в резне, разделившийся Индостан и его собственная гибель разве не доказательства его поражения? Разве финал Ганди не сопоставим с мучительным финалом Ленина, потерявшего власть над ходом вещей, который он начал? Исторический деятель вымеряется не тем, что опередил время, – иногда ему лучше отстать.

В случайный момент он улавливает единственное, немыслимое средство, чтоб двинуть к цели массу слепо возмущенных людей. Обратив слепоту в сообразное их умам действие. В эти минуты лидер воплощает собой историю. Таков Ленин в октябре, таким был Ганди. Но деятель измеряется не только звездными часами, но и в равной мере – поражениями. Опыт поражений – великое наследие людей. И в наследии Ленина для меня наиболее интересен интеллектуальный опыт поражения.

5. Ленин превращает себя в обстоятельство русской истории. Тень Чаадаева.

– Введем понятие *исторического деятеля* как проблему, позволяющую разъяснить почему Ленин – *человек без биографии*. С Ленина смыто все личное – это возмездие или законная расплата? Или он сам намеренно загонял личное внутрь, до неузнаваемости и невидимости его? А последующее смыло личность, напрочь и навсегда.

Чтобы восстановить невидимое, надо работать с понятиями «история» и «исторический деятель». Отклоняя то, что исторический деятель произведен от истории, а история просто синоним всего, что с людьми бывало. «Ты впущен на прием к случайности, – писал Пастернак в “Спекторском”, – ты будущим подавлен...» Главное тут слово *подавлен*, понимаешь?

– Полагаю, тебе скажут иначе – Ульянов просто человек, который случаем и стечением обстоятельств попал в центр событий и своей маниакальной сосредоточенностью на власти сумел повлиять на все.

– Дело в том, что Ленин сам обстоятельство. Громадное, сильное и очень стойкое обстоятельство русской истории. Творя обстоятельства, он сам стал обстоятельством, которое надо объяснить. Вот загадка Ленина.

Было нечто, что прошло с ним сквозь всю его жизнь. Назовешь это нечто *партией* – сегодня прозвучит как ругательство. Назовешь, следуя его выражению, *архимедов рычаг* – прозвучит напыщенно.

Человек положил себя, свою мысль и свою жизнь на то, чтобы восполнить нечто, чего, как он верил, недостает русской истории, чтобы ей стать универсальной историей и войти в общий ход дел человеческих. В XIX веке про таких говорили: *исступленные имманент-щики!*

Собственно, Владимир Ленин из ряда, который начинается человеком, писавшим лишь по-французски, – Петром Яковлевичем Чаадаевым. Он в ряду людей, которые искали восполнения органического порока русского исторического процесса. Который делал существование России бытием вне истории, а им надо было *сделать Россию исторической*.

Сквозная мысль, сквозная идея всего русского XIX века. Ленин мог и не знать, от кого он изначально идет, – я не верю, что он толком не знал Чаадаева. Хотя, затвердив и любя Чернышевского, Ленин не мог пройти мимо его статьи «Апология сумасшедшего», где Чаадаев очень подробно изложен.

6. Поступок-событие-бифуркация. Зачем царь Александр пошел навстречу Гриневицкому?

– Нас с тобой занимают люди и то, как поступок, не выводимый из обстоятельств, преобразует не только последующее, но и все ему предшествующее. Вот мания человеческой жизни – она поступком образует *свое собственное предшествующее*. Зачем человеку так потребен поступок? Он же не только очищает путь к чему-то, что за поступком будет или мниться, что будет.

– **Покойный Генрих (Батищев. – Г. П.) сказал бы: человек опредмечивает, овнешняет то, что этому предшествовало...**

– Да, но *предшествующее само тогда становится обстоятельством*. Действуя индетерминистски, человек формирует ультрадетерминистские реальности. Детерминизм – это детище человека. Он его выдумывает, его лепит, его изобретает – и становится пленником того, что сотворил. С Андреем Дмитриевичем, кстати, я сколько ни говорил про это, всякий раз его последнее слово было *бифуркация*. Таков его взгляд: *поступок-событие-бифуркация*.

Но как пробиться с этим, когда нынешним либералам так дороги их мистификации?

– **Любимейший либеральный миф, будто царя Александра убили в момент, когда он «даровал России Конституцию» и вышел погулять.**

– А ведь никакой Конституции там не было. Был граф Лорис-Меликов, который только под давлением народовольцев на Зимний дал гласность печати и приостановил казни. Когда началась лорис-меликовская «диктатура сердца», был перерыв в терроре, объявленный народовольцами. Трудно сказать, сколько бы он еще продлился, потому что у «Народной воли» была своя идея – революция ради конституции. Но тут Лорис-Меликов проявил слабхарактерность. Испугавшись, что в глазах правых выглядит слабым, он опять разрешил казнь народовольца. И этим сам приговорил Александра Второго.

Рысаков кинул бомбу наугад и не глядя – не попал, убил кучера. Царь вышел из кареты. Изображают это в сентиментальных красках: мол, беспокоился о жизни раненых. Ничего подобного, ошеломленный Александр вывалился из коляски и бессмысленно кружил. Полицейстеры уговаривали ехать во дворец. Схваченный Рысаков бормотал дурацкую фразу вроде «Не вышло, вот и кончилась жизнь». Гриневицкий со второй бомбой стоял у парапета, но сбежались люди, и он не мог ее бросить: толпа народу, царь в толпе. Как вдруг Александр сомнамбулически пошел прямо к нему, сквозь толпу.

Царь подошел к Гриневицкому – зачем? Тот стоял, расслабленно облокотившись о парапет, как Онегин. Масса людей, бросать бомбу уже нельзя. Но когда царь сам подошел к нему абсолютно вплотную, глядя в глаза, он покорился случаю – и уронил бомбу под ноги им обоим. Потрясающе!

Мы не знаем, что далее воспоследует, но мы *обязаны сделать* то, что продиктовала натура, наш внутренний голос. Тем самым мы создаем одну из возможностей последующего, а прочие закрываем. Мы рабы заданности, творимой нашими спонтанными действиями.

Вернусь к тому, о чем говорил вначале: *судьба-жизнь*. Судьба, до конца включенная в мыслящее движение. Запертый внутренний мир, внутри которого продолжалась борьба Ленина с самим собой. Когда я все это разглядел, оказалось, что передо мной один из самых великих и страшных русских опытов начинался. Он прямо вводит в наш сегодняшний день. Если мы готовы войти в него сознательно, не рассчитывая на безгрешность и не надеясь остаться безответственными.

Часть 2. Крымский тупик мировой истории. «Красавец-кроманьонец» уходит от смерти

7. Марр и тупики истории. Ранний Мир был не примитивней, а сложнее нашего

– Как я впервые ощутил прикосновение к истории? Почти детское воспоминание, крымское, очень сильное и странное. У нас в Симферополе тогда был один только книжный. Если идти от банка вниз по улице Горького, там был магазин «Книги», а в нем знакомая девушка, но не это важно. Я очень его любил. Магазин был затемненный, прохладный, и под стеклом лежали книги. Не полки, а закрытые прилавки со стеклянным верхом, под которым разложены книги. Однажды я увидел под стеклом брошюру в зеленой обложке, издательства «Известия»: Марр «В тупике ли история материальной культуры?» На меня это произвело ошеломляющее впечатление. Как? Разве в нашем советском мире что-то может быть в тупике?

– **Ты верил, что тупиков в истории не бывает?**

– Конечно! Сам вопрос казался абсурдным, отчего эпизод врезался в память со стереоскопической ясностью; я помню даже освещение места, где лежала книжка. С тех пор вопрос об исторических тупиках вставал передо мной не раз.

– **Исторический материализм вообще тупиков с катастрофами не любит. Старый спор прогрессистов с катастрофистами.**

– Плюс неистовый Марр, для которого вообще нет миграций – только автохтоны на разных фазах развития.

Марр был кавказовед. Вел знаменитые раскопки в Урарту, древнем армянском царстве. Занимался сравнительным языкознанием и вышел на сопоставление – вот языковые семьи, вот их перемещение – носители языка, перемещаясь, переносят язык с собой. Но однажды он обнаруживает структурное сходство древнегрузинского языка с баскским – и концепция рухнула: какая миграция из Испании в Грузию? Тут его осенило, а был он уже чуть с сумасшедшинкой, – что вообще никаких перемещений нет! А повсюду идет трансформация человеческой речи. Марр ввел все эти сходства в стадийное развитие языка. Непостижимым образом придумал несколько первых слов – сал, йон, бекш, которые якобы есть во всех языках мира. И далее, конечно, уже повсюду их находил. Естественно, Марр первым горой стал за исторический материализм, «истмат». У него были ученики, школа, великая слава.

– **Вождь всех советских языковедов и культурологов.**

– Да, он и в партию вступил. Кого-то притеснял, но не со зла – время такое было: уверовавший в идею просто не понимал, что можно думать иначе. В ней есть нечто интересное, в его идее. К ней еще вернуться.

Но во времена моего студенчества внимание привлекал Крит с Микенами. Советская историография выстроила формации как ступени прошлого, отсчитывая их обратно от Октябрьской революции. Вот дошли они до крито-микенской культуры – а та в схему формаций не встраивается! Был такой Богаевский, крупный археолог, он посвятил уйму сил, доказывая, что цивилизация Крита – первобытное общество. Признать, что была цветущая цивилизация, а после санторинского цунами с дорийским нашествием Греция заново начала с примитива – такое в рамки истмата не влезало.

Тогда уже утвердился непререкаемый, «марксистский» якобы взгляд на движение истории от низшего к высшему. Как поверить, что в темные века одиночка Гомер сочинил две вечные поэмы человечества? Не могли поверить, пока не убедились.

На почве истмата, где всюду одни аборигены и автохтоны и повсюду стадийность формаций, крито-минойскую цивилизацию надо было куда-то вставить и разъяснить. Сделав ее автохтонной, но ранней. И ради этого выдумали «военную демократию Крита» для культуры, у которой вообще ни одной фрески военной! Были огромные статьи Богаевского о том, что Крит – военная демократия, мы в студенческие годы ими зачитывались.

У нас и теперь снисходительное отношение к древности как к милому примитиву. Отсюда эти бесконечные гипотезы про инопланетян. Что-то кажется нам невозможным – это же предшественники наши, жили задолго до нас, и им следует быть «малоразвитыми». А чуть где не так – ищи «гостей из космоса»!

Ранний Мир нам видится простым, а он был, наоборот, крайне сложным. Человек шел от законченной и закоченевшей сложности к более простому, открытому и проблематичному. Вспомни сложность первобытного устройства семьи. В работах этнографов поражает и подавляет невероятная сложность родственных связей. Это было изощренно-сложное и в своей сложности остановившееся образование.

Экстраполяция незаконно распространяет современную точечность происшествий на промедления, длящиеся тысячелетиями, где нечто копится, переходя из одной предфазы в другую, которая также предфаза. Например, любопытно, какому сдвигу в существовании отвечало человеческое *имя*?

Мания именовать все была, но поперек ей шла табуизация, которая прямо запрещала назвать все. Разве поименование людей было изначально всеобщим? Было коллективным поголовным действием? Или у появления имен есть нечто общее с явлением пещерного художника? Тут схватка противоположных влечений, их накопление и взрыв. Сколько видит глаз, человек выступает уже поименованным существом. Поименование же не могло сбыться вне речи.

Я склонен к *синхронистическому мышлению*, которому культуры видятся равновременными. Тогда понятия низших и высших уходят, и возникает идея неповторимых *событий*, где все человеческое начинается сызнова. Никакой заданности этого движения в принципе нет.

– **Что поделать, в европейской ментальности нет иного способа отнестись к этому, кроме идеи равенства культур. А та недостаточна и превращается в невротическое вытеснение инаких.**

– Русская культура могла, не будь она так разрушена. В русских есть ресурс эмпатии.

– **Могла бы – что? Русская культура в классический период, честно говоря, мало отзывчива. Она не восприимчива к инокультурному, хотя утверждает обратное и гордится «всечеловечностью».**

– Да-да. Это от одержимости «вселенскостью». Нам трудно принять, что великая русская культура, ее сказочное развитие в XIX веке началось попросту с переводов! Пушкин, Жуковский на три четверти – переводы или оригинальные пересоздания чужих текстов.

И минойская культура в чем-то «пересоздательница» египетской, которая, даже застыв, была невероятно изысканной. Понятие великого локализовано в столь малом, что человек, летящий самолетом, уже не ищет всемирности в пространственно ничтожных пределах.

– **Видел я пролив между о. Саламин и Афинами – лужа шириной с Лужники, и понял, как жители «подбадривали воинов криками». Они могли не только подбодрить, но и камнем с берега врагу запустить в глаз. И в этой потешной луже прошла битва, определившая ход европейской истории!**

– Что показывает, какую роль со времен греков в человеческой истории играет воображение. При наших пространствах и бездорожьях, читая «Одиссею», трудно усвоить, что это за лоскуток моря. А ведь все в «Одиссее» видится гигантским. Колоссальное странствие с приключениями и столкновениями. Гомеровский мир – вещь непостижимая, как путешествие морем, прозрачным до самого дна: тоже момент моего крымского мироощущения.

И снова заблуждение – будто эллинская культура лежит в основе всей новой европейской цивилизации. Но она же была самодостаточной, жила в своих пределах и в них же себя полностью израсходовала. Вот и «тупик истории культуры». Эллинская культура уничтожила саму себя в Пелопоннесской войне. Лишь благодаря тому, что новоевропейская цивилизация стала разворачиваться в Мир, включенные в нее Возрождением античные предшества стали восприниматься как всемирно исторические. Когда локальная цивилизация Европы двинулась завоевывать Мир, Античность попала в истоки всемирной истории, но сама Греция стала периферийной страной. Так что зря мы глядим на греков как на отцов европейского общества.

– **Да и мы сами в том же примерно отношении к русской, пушкинской России.**

– Конечно. Если не меньше.

8. Осевого времени было много. Загадка человеческого разбегания по Земле. Человек переначинается.

— Дадим отчет в односторонности всего, что делаем. Выражаясь истрепанным языком, мы держимся европоцентристской картины истории. Мы исходим из данного глобализированного состояния Мира, где люди вовлечены в гигантские перемещения и информационные волны. Миграции, иммиграции, новости, смена вкусов и мод. Нельзя не считаться с фактом, что нынешний перепутанно-связный и запутанно-движимый Мир говорит, а стало быть, отчасти и думает *по-английски*. Во-первых, потому, что люди на нем договариваются друг с другом, а на это еще наложился компьютерный язык. Замечательно про компьютер мне Лена (Высочина. — Г. П.) сказала: «*Машина, она же англичанка!*»

Но, отправляясь во времени, мы отдаем себе отчет в двух вещах. Во-первых, все не задано и не извечно. Во-вторых, глобальная экспансия не свидетельствует о превосходстве обслуживающей ее цивилизации Запада.

Еще недавно Мир жил иначе, не зная передовых и отсталых. Мир был странным сожитием разных цивилизаций и насквозь аритмичен при этом. Он не группировался по признакам «отсталые», «развитые», «развивающиеся»... Сама эта терминология чуть глупа, как если бы развитый терял способность быть развивающимся. Тем не менее что-то здесь есть.

Говоря о том, что Мир не был таким, что люди в нем сосуществовали по-разному и в разной ритмике, мы помним и то, как однажды все переменялось. И раз так произошло, отправляясь в прошлое, надо себе в этом дать отчет. По одной причине хотя бы, ведь причина — Россия. Русская Евразия как пограничье глобального процесса. Русская часть картины *соприсутствия-пограничья* по отношению к процессу, в котором одна-единственная из цивилизаций — новоевропейская — сделала заявку на Мир. И ее реализовала, хотя не в полной мере.

С этой точки зрения возникает ряд логических и конкретных трудностей.

В отношении людей как таковых можно говорить об их общей первобытности. Когда-то мы говорили о «единой первобытности», теперь уже только *о более или менее единой*. По-прежнему дискутируемый вопрос: из одного ли африканского очага все пошло или развитие было разноочаговым? Как появился этот кроманьонец, *Homo sapiens*, имея в виду его разных предшественников — китайских, африканских, яванских, европейских? Неясен и неандертальский компонент.

Тем не менее условно мы еще можем говорить об общей первобытности. Но где-то она начала глубоко расщепляться и дифференцироваться. Она вступила на путь закрытых моделей самовоспроизводства. Возникли объединения родов, громады династий, изнашивались, уходя в небытие, и вновь собирались из тех же элементарных кирпичей. Но как-то раз процесс пошел *по-другому*.

Помню, на конгрессе антропологов у меня зашел разговор с Лесли Уайтом, известным американским антропологом. И он говорит в процессе спора: «Вы марксист. Энгельс написал работу “Происхождение семьи, частной собственности и государства”, работа очень интересная. Но во времена Энгельса уже был востоковедческий материал. Почему у него все построено на первобытности по Моргану, который исследовал только американских индейцев?»

Я ему тогда сказал: «Вы не думаете, что Энгельс полагал, что частная собственность и государство возникают только единожды и в одном месте? И то, что мы распределяем этот генезис на все земли планеты, некорректно? Искусственная операция, с помощью которой мы категории наблюдения и выводы, извлеченные из опыта доминирующей цивилизации, экстраполируем на всех».

Мы обдумываем историю культуры на перемычке двух образов. Один образ таков: мы имеем дело с чем-то универсальным, что именуем Миром. Надо распознать, где это нечто возникло. Правомерно говорить о средиземноморском мире – но можно ли говорить о центрально-азиатском мире или о тихоокеанском мире? О китайском мире, с его многообразными разветвлениями и приложениями? Или все-таки *мир* в строгом смысле слова появляется где-то единожды и впервые самое себя распознает и понятое называет *Миром*? Мир средиземноморский, который и получил первое имя мира *Pax Romana* – *Римский Мир*.

Восток не притязал на глобальность. Он мыслил себя космически, оставаясь в своих пределах. Строители средиземноморского мира выломались из зашедших в тупик цивилизаций Востока. Они выстроили Мир, развернувшийся в заявку на всю планету, обоснованную идеей апостола Павла – идеей внеродового родства.

Конечно, человек уже был. Была человеческая речь, разбегание людей друг от друга по земному шару. Все эти вещи вышли за рамки понятия рода и связаны с наличием сознания. Но совсем другое дело – осознание *человечества* как универсальной программы.

– **Это по Ясперсу?**

– По Ясперсу? Едва ли. *Осевого времени как единоразовой эпохи нет*. В феномен «осевого времени» Ясперс переименовал христианское начало, чтоб избежать европоцентризма немецкой школы. Европоцентризма я не боюсь, он не знак качества. Что поделаешь, если история, где участвуют евреи, неевреи и антисемиты, получила вселенскую вертикаль? Не понимаю, почему это нельзя обсуждать.

Мы имеем дело с историей, а та не энциклопедия описаний всех экзотических культур и цивилизаций. Мы имеем дело с чем-то, что себя ограничивает и объединяет понятием Мира. Важный момент этого – всемирная история, и в связи с ней – мировая культура.

– **Но тогда мировая культура – россыпь всех земных культур и субкультур. Или у нее нечто общее с мировой историей?**

– Мы ступили на опасную территорию: есть два полярных взгляда на развитие человека. Один – тот, что с момента, когда человек стал человеком, он как существо уже не терпел сколько-то принципиальных изменений. Он поднимается со ступени на ступень, но в качестве субъекта подъема, того, кем он себя видит, человек не меняется.

Для меня это не так. Я настаиваю на том, что по пути человек переиначивается, и более того – он переначивается как человек.

Мы вернулись к страшно увлекательному, но и самому темному моменту возникновения человека. С какого-то времени человек уже относим к иному роду по отношению ко всем прочим родам живого, ко всем формам жизни без исключения. Ното *sapiens* – это составший против эволюции род. Здесь возможны самоутраты, зато возможны и самовозобновления – переначения человека как человека. По отношению к средиземноморскому миру таким я вижу рубеж конца *Pax Romana* – Голгофу. В следующее время переначения мы входим только сейчас.

9. Красавец-кроманьонец и открытие смерти. Культура – темное начало. Ненормальность и всеобщность культуры

– Человек современного типа – аналог Большого взрыва для человеческой истории. Известно, когда возник, – неизвестно, как и почему. Вдруг ниоткуда является наш красавец-кроманьонец, с человеческой речью, которую к коммуникации зверья не сведешь, она исходно другую роль играет.

Появление человека современного облика – это открытие смерти в связи с открытием речи, то есть чего-то, что не было коммуникацией, пусть сложной и утонченной, и не укладывается в это понятие. Почему, открыв смерть, человек тут же стал разбегаться, заселяя Землю?

Ухудшение условий выживания не могло быть причиной этой дисперсии разбеганий. Была саванна, в этот период наполненная массой травоядных животных, – лови, хватай, ешь! Слово «разбегание», по-моему, лучшее. Не освоение, а *разбегание*, с превращением земной суши в Мир, где человек может расселяться. Мир в его сознании становится ойкуменой, созданной лишь для того, чтобы он жил.

Кроманьон – человек, который открыл свою смерть и от этого открытия уйти не может. Открытие порабощает его и гнетет. Вместе с тем превозмогание открытой смерти делает его человеком, вводя в сферу вневидового развития. Вопрос таков: что если культура изначально происхождения связана с открытием смерти? С тем, что, не имея возможности уйти от жуткого открытия, человек превращает его в *открытие жизни*, и жизнь приобретает для него новый смысл? Человек отторгает ситуацию своей смерти, он видит себя в свете вторичного открытия жизни. Культура стала ему сном и явью, она его хранит от безумия и суицида. Самоубийство ввиду смерти замаячило очень серьезно.

Культура не просто работает с открытием смерти. Она как вегетативная нервная система – запомнив болезнь, ее бесконечно воспроизводит, так что человек подчас одной корой полушарий может подавить хворь. Так и культура воспроизводит и воспроизводит момент открытия смерти. Это открытие воспроизводится в наготе и беспощадности, впитывая прошлые открытия.

– **Интересно упоминание вегетативной нервной системы. Внедряется ли этот воспроизводящий открытие смерти механизм в само тело существования?**

– Конечно, он и есть культура. Сжатую дефиницию ты дал: *культура как механизм, воспроизводящий открытие смерти*. Но и механизм превозмогания этого открытия, отстранения его от себя, с возвращением в новых формах обратно.

Воспроизведение – вещь нешуточная: это не припоминание, а *исчерпание*. Культура исчерпывает противодействие открытию смерти, претворяя его в творчестве, в пересоздании человека. «И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход» – одному без другого нельзя! Без «гад морских» культура – ничто, сахарная водица.

Поразительная особенность культуры в том, что она откладывает в себе не только моменты преемственности, но и *катастрофы перенацелений*. С этой точки зрения культура и хронологична, и вневременна. Мы можем разглядеть в ней и нечто распределенное во времени, и нечто сопричастующее *против времени*. То, что именуют пыльным словом с продавленным сиденьем: *вечное*.

Пульсация открытия смерти сопряжена с истощением форм и энергий обращения в творчество. Форма существенней реалий, с которыми работает, – *форма* выходит вперед. Она эйдос Платона.

Воспроизведя открытие смерти, речь беднеет. Здесь поле разгула некультурности, и правит бал ее сленг, ее имитации, оборотничество. Есть силы, которые это эксплуатируют, однако мы и с ними остаемся в поле культуры. Культуру не надо сластить, она не только нечто, якобы противостоящее темному началу...

– **Культура сама темное начало.**

– Она сама темная.

– **Она сама темное начало, но не будем сластить и некультуру. Рассмотрим некультуру как сопротивление «культурной механике» выживания Homo sapiens. Опасной с эволюционной точки зрения.**

– Культура не всеобща по определению. Она идет от индивидуума ко многим, уже зная обратный ход, от многих к одиноким. При застреваниях вступает в силу пространственный фактор – разбегание с подключением свежих людей и пространств. Культура идет, включая в себя новые пространства. С этой точки зрения сопоставления от Египта и Pax Romana до Средиземноморья и доколумбовой Америки имеют основание. В доколумбовой Америке и малоазийских культурах страшно представлена смерть. В оголенном виде, как чудовищный «футбол» отрезанными головами и расписанные черепа.

– **Не было ли разбегание по планете попыткой условно «нормальных» людских существ отделаться от соседства с условно «ненормальными»? Люди ведь поначалу производили друг на друга жуткое впечатление. Проявления культуры в твоей трактовке могли быть подобны вспышкам безумия. Жить сообща у людей не очень-то получалось и в позднейшие времена.**

– Не получается и сейчас.

– **Попытки элиминировать смерть приобрели вид образованского заклинания, которое все-таки возвращает к обреченности. И универсальность представлена лишь суммой неудач в наших пробах уйти от обреченности.**

– Совершенно верно. Это и есть генезис открытия смерти: *суммой наших неудач.*

10. Homo mythicus и империи-изоляты. Человек способен замкнуться.

– Если поделим человеческую историю на части, не сопоставимые по времени, но в чем-то близкие по важности, то первый, гигантской длины отрезок был Homo mythicus. Человек Мифический не изобретает мифы, он в мифе живет. Миф как способ жизни человека.

Степень завершенности в каждом из типов колоссальна, а выход человека за рамки этой завершенности всякий раз был невообразим до того, как случался. Ниоткуда не видно и никем не доказано, что человек вообще мог перешагнуть через миф! Зато легко представить, что род Homo sapiens на Mythicus'е и закончился бы.

Едва человек в неких пределах обживется и умеет в них почти все, как оказывается, что это его не устраивает. Такой высшей точкой первого человека, выходящего за пределы, не обладая еще достаточной энергией поселения в ином, стали эллины.

Как эллинская мудрость спокойно уживалась с мифом? Почему миф ее не стеснял? В эллинской сложности есть что-то замыкающее, сковывающее, лишаящее ситуацию хода в измененные состояния. Это важный момент: изошренность входит в обеспечение замкнутости.

Пример Египта: мы видим изумительную и богатую цивилизацию. Великий знаток Ростовцев находил у египтян даже «государственно-монополистический капитализм». Невероятно сложная цивилизация, которая все ходит и ходит кругами, дойдя до того, что все существуют, чтобы обеспечить загробную жизнь одного. И он сам, фараон, – пленник своего посмертного состояния.

Речь идет о гигантских изолятах. Человек способен замкнуться, тысячелетиями расходуя энергию, материальную и духовную силу. А после мы изумлены тончайшими расчетами пирамид, их видом и геометризмом.

11. Пирамиды. Прижизненная смерть фараона. Жизнь оборачивается сервисной функцией.

– Интересно рассмотреть круг Средиземноморья, идя от египетской цивилизации, которая ни на что не похожа. Она сочетает изощренность жречества, проникновение в космогонию с нарастающей иррациональностью, воплощенной в вершине ее – пирамидах. Эти цивилизации обладали парадоксальным свойством: необходимая деятельность, лежащая в основе их зарождения – регулирование работ и так далее, – приобретала самодовлеющую силу. Выделившийся управляющий слой уже не является функцией, зато жизнь оборачивается в функцию по отношению к этому слою. В конце концов, в Египте дошло до того, что деятельность всех направлена на обеспечение загробной жизни фараона. То есть фараон уже заложник смерти – он заранее мертв. Он живой покойник ради сооружения пирамид, феномена строительного искусства невероятной точности. До сих пор неясна техника воздвижения при их ориентации по направлениям.

На примерах этих речных или доколумбовых цивилизаций, этих изолятов, мы видим, к чему эта тенденция вела, если б не было обмена контактов.

12 Египет и крито-минойцы. Культура способна переходить в другое вне собственного дома.

– Египетская цивилизация, невероятная по изысканности, взаимодействует с другими: она что-то им отдает и что-то получает. Но главное, она во что-то переходит не у себя дома.

Вот что позволила культура – передавать себя другому, *переходить в иное вне своего дома*.

Египет – и крито-минойцы. Египет – и евреи; хотя был ли египетский плен евреев, сомнительно.

В конце концов именно египетская культура приводит к тому, что люди сознательно строят средиземноморский смешанный Мир-ойкумену уже на почве эллинизма и Рима. А что с изолятами доколумбовой Америки? В чем-то схожие с египетской цивилизацией, они шли в никуда.

– **«Никуда» – это взгляд из форточки Средиземноморья? Почему – в никуда? Потому что их уничтожили Писсаро с Кортесом?**

– Передавать им некому и нечего. Я не говорю, что это было предрешиено, но показываю отличие. Вот европейский тип, где происходит передача своего в иное, а в процессе передачи возник интерес к чужому, тяготеющий к созданию мира культуры. Где эллинизм вернется в Египет Александрийской библиотекой, и далее – повторяемость.

– **Почему в одном месте повторяемость, а в другом месте прекращаемость? Может, надо объяснять не повторяемость, а как она оборвалась?**

– Каждая новая цивилизация принимает самопожирательный характер. Вот парадокс развития этих ранних деспотий – их первоначальная функция не может быть выполнена в малых размерах, а большие ведут к самодовлению правящего слоя и жречества. И к внутренней смерти при жизни. Непонятно много, но взгляды на пейзаж Египта – с этим Нилом, с этой пустыней... Были цивилизации, привязанные к календарю природы, непосредственно космические. А в мире маленькой Эллады почти нет привязки к календарю природы, зато неслыханная разноликость условий существования.

Ты прав, культура имеет дело с непонятным, но человек распознает непонятность собственную. Может быть, это и есть суммирующий момент. Я пытаюсь определить культуру как отношение к тому, что человеку не дано непосредственно, но имеет для него спасительно-преобразующее значение. Культура – это сумма средств, которыми человек облегчил себе ношу первооткрытия смерти, пользуясь речью, возможно, в связи с этим и возникшей.

Культура тяготеет к тому же, что первичное разбегание людей, – творя взаимную удаленность, она оппонирует отчуждению групп и этносов друг от друга. Культура привержена к своему и вместе с тем тяготеет к чужому; она запутана в этом узле. Человек совершает двойное движение. Он уходит от непосредственности смерти, и из заложенных в него витально повторов делает свою жизнь бытием повторения! Сквозь обреченность проступает нечто иррациональное, но постигаемо сложное.

– **«Человек», о котором ты говоришь, он кто – индивид или личность?**

– Личность по отношению к индивидууму не надстроенная высшая форма – она более поздний ход, вступивший с индивидуацией в спор. Личность в оппозиции к индивидуальности. В некотором смысле христианство менее индивидуализировано, чем прежние формы жизни. Личность – это выбор, форма преодоления тесного круга своих с выходом к чужим.

13. Иудейский запрет и римская терпимость. ИИСУС и апостол ПАВЕЛ. Человечество становится бескомпромиссной идеей.

– В общем-то, до евреев истории нет – это они придумали историю как историю. Бог не награждал евреев избранностью как вечным алиби. Это не статическое состояние, все движется в отступлениях от Завета и возвращениях к нему. Избранность состоит в *праве нарушать целеустремленно*, что и есть история в первоначальном виде.

Но римская надстройка, ее нивелирующая сеть отношений, налагаемая на безразличные власти отличия, все сокращала до частных вариантов. Вечно задевая тех или других, пятых, десятых. Но Иудею это задевало непоправимо: надстройка закрывает путь человека к Богу, человека-иудея – к иудейскому Богу. Убери слово «иудей» и «иудейский» – и вот Иисус, и просто – путь Человека к Богу. Где открылся путь человека к Богу, там власти нет. Примирение с властью требует расчистки пути к Богу от всякой дополнительной регламентации.

Раскол назареев с ортодоксальными евреями переживался почти инстинктивно – ортодоксальных отталкивала их спешка, их сумятица веры, их упрощения. Ортодоксы двинулись путем скрупулезной детализации всего, что войдет в канон. А простота и неопределенность, свойственные христианской спешке, – это формы преодоления табуизации.

Отношение Иисуса к запрету страшно интересно, оно преодолевает эту изошренность. По принципу, по масштабу внутренней открытости, под которой разумелась незавершаемость, – христианство выводит на личность как на проблему. И столкновение между Иерусалимом и Афинами, между эллинским и иудейским миром, между Платоном и Павлом – их диалог, их спор вращается вокруг проблемы: что личностней? В узком кругу – эллинское начало, в безгранично широком и всеохватывающем – христианское.

Человечество стало бескомпромиссной идеей.

14. Homo historycus. Заполненность человека историей. История неостановима изнутри.

– Христианство переводит *Homo mythicus* в состояние *Homo historycus* 'а, утопического человека. Модусом существования человека в истории стала утопия, а не миф. Появляются понятия человечества, исторического времени и многое другое. Христос (в отличие от пророков) категорически утверждает, что время Страшного суда настало – Второе пришествие начало обратный отсчет. Время отсчитывают от будущего, а отсчет формирует место для прошлого, сетка предшествований во времени. Мысль Павла: в момент спасения и воскрешения первыми воскрешаются мертвые – всё! А лишь затем живые, которым еще должно это добыть своей жизнью.

На чем тогда основывалась идея *человечества*? Она прямо не идет от Павла. Но чем больше все становилось светским, человечество становилось доминирующей, исключительной идеей и императивом существования. Речь уже не шла о том, что есть Путь, а прочее должно быть с ним увязано, поелику не мешает и не заслоняет. Нет, теперь уже все должно быть включено в Путь, на принципиально иных началах.

С тех пор как человек вышел из синкретической жизни в мифе и стал заниматься собой, каждая из его проекций тяготеет к абсолюту, заполняющему собой всё. В нашем поколении история стала исчерпывающей проекцией существования. История посягает на то, чтобы овладеть человеком и каждые его сутки, каждый шаг его включить в историю. В дни революций история полностью вытесняет и заменяет собой повседневность. Ее экспансия вытесняет собой всё. Но самое страшное, что в точках наивысшей экспансии история вообще не останавливается изнутри.

В чем риск восприятия истории? Мы начинаем видеть ее как нечто (по замаху, по внутреннему замыслу) всечеловеческое. Таким всечеловеческим она стала уже в маленьком локусе Европы, чтоб затем развернуться на всю планету – и не смочь развернуться до конца. Есть силы истории этому противодействующие, и есть токсины, которые вырабатывает сама история.

Люди живут в контексте повторяемости и естественной заданности – жизнь истории идет поперек заданности, в оппозиции к ней. Эти нарушения и есть история.

История, политика, революция достигают гигантских высот, выдвигая великие фигуры. Но все они сопряжены с претензией на всезаполненность человека. Когда Ленин произнес чудовищную для нас фразу – нравственно все, что делается в интересах коммунизма, – в нем говорил максимализм истории, достигший запредельности. С этой точки зрения я рассматриваю и угрозу культуре. Когда говорят, что «культура – это наше всё», мне это слово не нужно. Это грозит культуре не только политически. Это разрушает ее изнутри пафосом и ликованием включенности, в обмен на влияние, которую культура приобретает.

15. Исторический человек как «новая тварь». Ленин – банкрот-финалист истории. Нам мешали историю изобретать.

– Крушение → страдание → кара → возобновление – так возникает понятие *новая тварь*. Откуда еще было возникнуть первому образу истории? Моисей водит людей по пустыне, чтобы поколения вымерли, и следующие, свободные от давления первозаданности, смогли начинать заново, согласно избранничеству. Но никто не обещал, что так будет единожды!

Пришел сын Человеческий и распространил избранничество на всех. Он ввел исторический компромисс: кесарю – кесарево, а Богу – Богово. С рабами я раб, со свободными я свободный. Все состояния сохранены, и вместе с тем все отменяются состоянием, которое *над* всеми и образует их истинный ход. Оно *состояние-путь*, с финальным временем Второго пришествия. С утопически привлекательной идеей Павла, что все мертвые *воскреснут*, а живые *изменяются*, где первым обусловлено второе. Вот образ истории, вот кто внушил историю людям. Почему это было так? Трудно понять, как и то, почему наш обреченный предок сумел из своей обреченности восстать Ното, воздвигнуться до Эйнштейна, Сахарова – и до способности всех уничтожить.

Мы же не знаем, почему на этом клочке земли придумали историю. Но сегодняшняя история лишена предназначения, ей выданного, ее уже нет. Самоуверенно заверять, будто нам известно, почему она кончилась. Но позволь сказать, что *для меня она кончилась*.

Но нет, мы твердим по-прежнему, что история – это «все что было». Тогда для нас несчастный человек в Горках, безъязыкий Ленин – просто банкрот. А что если Ленин *банкрот-финалист*? Ленин в финале истории, и она истощилась в нем и при его участии.

Впрочем, история не закончится вполне, пока есть вещь, которая ее перекрывает, и если та тоже кончится, с ней закончится человек – это память. Играющая невероятную роль в жизни людей. Нас уже почти обеспамятили, так что мы судим об этом с большей основательностью, чем другие.

– Ты имеешь в виду многократное переписывание истории советским «министерством правды»?

– Плохо же ты прочел Оруэлла. Разве процесс обеспамятливания заключался в том, что историю переделывают в угоду злобе дня? Напротив – нам мешали историю изобретать. Нашей памяти диктовали единственный, неприкасаемый вариант. Пожалуй, Сталин и вправду поверил, будто история такая же точная наука, как другие. Хотя, если можно говорить об исторической строгости, то лишь в меру исторической неточности.

Столько лет выбивали из историка *человека помнящего*, глупой идеей «объективности», как цензуры над его чувством свидетеля. Люди пишут, устранив себя как людей из того, чем они занимаются, они различимы только манерой письма. Добросовестный *систематик* материала боится сознаться, что это *он так свидетельствует*, а другой вспомнит совсем другое. Его субъективность для данного случая как раз и есть его строгость свидетеля, поскольку оставляет поле для *иной памяти*.

16. Утопия оппонирует мифу. Коммунистическая утопия. Антиутопия и террористический эгалитаризм Сталина.

– Возьмем два понятия, *миф* и *утопия*. Ясно, миф не то, что люди придумали, – миф – это их способ жить. Они живут в мифе, их мифы – это они же сами. Думаю, миф вообще уйти до конца не может. Зная, насколько это глубокий слой прошлого бытия, разве мог человек его начисто весь утратить? Миф – это первичная подпочва цивилизаций и культур, он не уходит. Миф возвращается, и важен анализ его возвратных движений.

– **Утопия разве не модернизированный миф?**

– Нет, утопия не утонченная форма мифа, а его оппонент. Миф имеет свойство обращать все в настоящее – все, что было, в то, что будет; ведь те, кто был и кто будут, равно *сущие*. Утопия бросает вызов мифу – она разделяет времена. Первой истинно мощной заявкой на утопию я вижу первоначальное христианство. Мысль о новой твари, о новом человеке краеугольна для утопии. Равно представление о людях всего света как человечестве – *едином объекте* и предмете проектирования.

– **Человечество и новые люди – разве не мифологемы?**

– Мифология революции нарастает поначалу как сбывающаяся утопия. Как выглядело совмещение революционного мифа и осуществленной утопии в 1920-е?

Оно в атмосфере, в воздухе, в документах. Это не только мужик, который отбирает себе землю и *в силу этого* голосует за мировую коммуну. Это и трибунал Республики, состоящий из пролетарских революционеров, для которых юстиция есть вид классовой борьбы. Вместе с тем они люди утопически грамотные и, смягчая расстрел, приговаривают к заключению в лагере *до победы мировой революции* – и не лицемерят. Но далее разделение утопии и мифа нарастает.

Победу Сталина можно рассмотреть как победу антиутопии, а поражение Ленина как уход утопии с прорывами в нечто иное, новое, чему нет соответственных слов. Идет перестройка революционного мифа в мифологию с выраженной ритуальностью, которая, вытеснив утопию, подчиняет ритуалам поколение за поколением. Духовное торжество Сталина, его способность втеснить себя намертво в сознание и привычку миллионов душ были немыслимы без новой мифологии. Которая сперва импровизировалась им или творилась другими, а далее субординировалась в институтах. Порождая изощреннейшую атрибутику советских ритуалов. О сочетании обряда и таинства в СССР надо говорить специально.

– **Итак, советское общество – возврат к всеохватывающей общине Мифа?**

– Справедливая община равных. Сюда хорошо вписывается выравнивание тем, что я назвал бы *террористическим эгалитаризмом* Сталина. Сталинское выравнивание связано с избавлением от двойной морали утопистов Октября: когда одно мыслится в судьбе и в партии, другое – в отношении всех, кто вне коммунистической миссии.

17. Исторический компромисс Павла и нищие духом Иисуса.

– А «блаженны нищие духом» – что значит? Почему с этого начинается Нагорная проповедь, с заповедей блаженства?

– Таково решение духа! Дух обнаруживает себя тем, что внутренне выравнивает ситуацию нищего человека. Вот справедливый способ открыться свободе: соединиться с другими людьми вам не дано, пока не признаете самых убогих нищих равными себе. Иисус Христос же сам добровольно нищий. «Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».

К кому обращается Иисус первой фразой: блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное! Первое, что Христос говорит, – блаженны те, кто решением духа ставит себя в положение нищего, ну а дальше: блаженны плачущие, блаженны кроткие. То есть блаженны *нищие по велению собственного духа*, а не обнищавшие духовно. Перевод нехорош: «нищие духом» теперь читаются как духовно бедные.

С учителями во Израиле Он дискутирует как с коллегами, но суть и тон Иисусовых речей исключительны: выслушавший должен уверовать – либо станет врагом. Кто не со мною, тот против меня, и отсюда неизбежность трагического конца. А потом пойдет присвоение идеи уже огосударственным этносом, новой христианской империей. Возникает воинственность различия «верующие-неверующие»; антагонизм, оправдывающий любое насилие. Идея справедливой многоликости этап за этапом выявляет свою неосуществимость. Но она движет, и она порождает.

Эта особенность заложена в христианстве – с одной стороны, императив Иисуса, с другой – Павел, вносящий компромиссную гибкость. Непрерывно порождая ереси, христианство вместе с тем частью включает их и вбирает в себя, отрезая всех прочих. И этим обновляется.

– С чем-нибудь это сравнимо вне религиозных рамок?

– С коммунизмом, с идеей коммунизма. «Добьемся мы освобождения своею собственной рукой», то есть без участия промысла. Тут сама активность человека достигает уровня Божественного промысла. Божественный промысел заменяется универсальным действием человечества. Коммунизм берется воскресить всех прошлых падших, воскресить в человечестве.

18. Судный день и время конца. Исполнимость и неисполнимое в истории.

– *Бытие конца* – странное словосочетание, правда? Поскольку бытие – это жизнь, а конец – ее прекращение. *Жизнь, заключенная в прекращении*, как-то не вяжется? На самом деле мы возвращаемся к той первичной точке человека, откуда пошла идея *Судного дня* как финала, *равно* затрагивающего смерть и жизнь. Еще раз вспомню апостола Павла: мертвые воспрянут, а живые изменятся. В центре обоюдность События, взрыв памяти, взаимное сопряжение сущего всеми его былыми предшествованиями. Вторжение всех прошлых внутрь данного момента – гигантская живая *сфера конца*.

А без этого не может сбыться, что люди станут иными. Очищая землю от скверны неправильности, в живых оставляя верных – наедине со всей страшной памятью, среди опытов всех мертвых всех поколений.

Надо иметь в виду особое устройство момента Суда, не хронологически точечное и не календарное. Суд может длиться день, а может составить эпоху – то, что вслед Павлу зовут эпохой. К чему бы оно, если Страшный суд лишь конец? Значит, это не исчерпание времени, а *особого рода время*. Когда жизнь катастрофично итожит себя, не переставая быть жизнью. Сохранен даже человеческий быт – в эпоху Конца зачинают детей, в дни Страшного суда рождаются дети. Но «горе рождающим!» Время несет уже на себе печать неясности, из которой творится Начало.

– **Что имеется в виду? Разве Страшный суд не конец миру сему?**

– Люди не исчезают. Не тот случай, когда вымарывались цивилизации и народы – не Атлантида, не Троя, совсем другой ход. Суд не противостоит жизни, а открывает в ней какую-то другую жизнь. Трудную, но обнадеживающую.

Только опыт истории отчасти раскрыл человеку, о чем тут речь. Начиная от Крестовых походов, Лютерова переворота, от Англии Кромвеля и Франции Революции, все ближе к России – проект *исполнимости*. В нем прячется нечто безмерно вдохновляющее, ведущее человека, и в нем же – драма *неисполнимого*.

19. Действие смерти, переоткрывающей жизнь. Спасение мертвых.

– Но сказано же, что смерти больше не будет?

– Возьми исходный пункт – идею сопряженности спасения мертвых с шансами всех на спасение. Шансы каждого человека на спасение, не исключая из спасения никого, сопряжены с возвращением в жизнь всех мертвых.

Величественная идея! Исходный пункт Иисуса-Павла и кокон всемирной истории. Потом историю разводит в стороны, дробит и заново сводит – но на каждом рубеже легко проследить действие смерти, переоткрывающей жизнь. Неверно, что мертвые синоним косности, и неверно, что смерть препятствует исторической жизни.

Смерть – союзник жизни в борьбе с обреченностью и геноцидом.

Часть 3. Политика и теология альтернативности.

20. Октябрьская революция и коммунистический акт спасения. Предшественники превращаются в «пережитки».

– Привыкли считать, что главная цель революции – *создать нового человека*. Это не восходит к 2000-летней попытке христианства обновить человеческую натуру?

– Проще пересотворить человека. Новая тварь – новый человек. Это значит, что на человеке есть долг. Он должен переначинать себя, значит, обязан отказать себе прежнему. Он участвует в коллективном действии самоотрешения, где каждый призван к этому действию, – откуда появится новый человек, как не из тебя самого? Вот почему, когда Павел вводит формулу: «Все мертвые воскреснут», этим он ведет к компромиссу. Решающим является, что в этом действе человек не смеет опереться на прежнее – переначиная себя, он прошлое пересоздает. Воскрешение мертвых – это пересоздание предшествований с их обращением в свои прологи. Мертвые люди уже не где-то в геенне сами по себе – они мои пропилены, они мой пьедестал! Тогда все выстраивается.

– Но революция началась с того, что мы отреклись от старого мира с его историей.

– Из известных нам классических революций (которые, регионализируясь, пространственно отграничивают себя, затвердев в нациях) только Октябрьская революция притязала на буквальную планетарность. Она отрешает всех и каждого от всего, что было. Она берется пересоздать все вообще – буквально всякое прошлое обратить в свой пролог и преддверие! Конкретно же действует суженно: из преддверий отбирается Французская революция как момент исторической кульминации.

Но Октябрь обещает, что в России все не закончится, как у Конвента. Отсчитывая себя от Великой французской, русская революция рассматривала ее как то, чем она не станет. Советская Россия с буквалистской горячностью рухнула в катастрофу 1930-х только потому, что русский Термидор в 1920-е не удался. В России не нашлось основной посылки термидора – отринуть пограничность духа, буквализм прямого вхождения в человечество.

Ничего не понять вне замаха русской революции на пересоздание человека, совершенствование его одномоментным коммунистическим актом. Сгущение во времени проливает свет на одноактность перемены. Ее планируют буквально в планетарном масштабе – в прологе у Октября *все прошлые*. Все истории революций сжаты до одноактности, и мы всюду их обнаруживаем как свои предпосылки. Все реформы, все революции – все якобы «уже было», раз все они в нашем сознании. Измеряя революцией результат всемирной истории, мы злоупотребляли словом *предпосылка*, – изобличая операцию обращения былых существований только в наши преддверия, в наш пролог.

– Изменяя людей живьем, советские не желали принять мертвых просто такими, какие те есть?

– Прочитай «Чевенгур», читай Платонова 1930-х – тот в ужасе. Он видит, как, всех загоняя в прологи к себе, мы их всех обратили в мертвых *вместо* оживления! Вместо того чтобы оживить их, отсекаем их в «пережитки» – мертвим. Мертвого прошлого в жизни скапливается все больше.

Мы омертвляем прошлое, допуская его лишь в качестве континуума предпосылок. Уже в 1930-е прошлое – наш упорный враг. Он растет из сломанности старых бойцов, из коварных намерений противников, и мы к этому привыкаем. Как еще в 1937 году всякого человека

можно было изобразить врагом? Это результат первопосылки: раз прошлое *только* преддверие данного настоящего, оно то, чем ты *не* вправе быть. Тогда прошлое надлежит устранить вместе с живыми его носителями – с нами!

Возьмем «дело врачей» – передовую «Правды» 5 января 1953 года, куда Сталин вписывает сокровенную фразу: мы думали, что пережитки капитализма что-то абстрактное, но нет – это *живые люди*, которые бродят среди нас. Что это означало? Они живые, они хотят нас убить – и нам, чтоб остаться в живых, следует *убивать первыми*. Так развернулась каверза, заложенная в первопосылке, что «все мертвые воскреснут, а живые – переменятся».

– **Неожиданный сталинский вывод из Послания к коринфянам.**

– Обрати внимание на распрю людей августа 1991 года. Их первонастроение, когда они взяли верх, – им подарен успех, им дарована власть, теперь *сделать можно все*. Но так же думали все – Ельцин, что ему теперь все можно, Хасбулатов с Руцким думали, что могут все, Дудаев тоже, и еще биржевики и журналисты, и твои солнцевские бандиты. В какой-то момент все противоборство претензий собиралось в точку, где выход один: *убить!*

– **Почему только убить?!**

– Остановить революцию – значит дать ей *термидором* новую альтернативу, либо утопить в крови. Гекатомбы трупов либо вторжение извне. Хорошо тому, кто вовремя терпит поражение, кому Ватерлоо и ссылка на Святую Елену – а каково победителю? Тому, кто вернется с парада Победы?

21. Эпоха Голгофы и Великой французской революции. Термидор как человеческая попытка остановить себя средствами революции.

– Человек исторический, в общем, всегда готов себя переначать. Цепь событий, в которую он встроен, и наследований, которым подчинен, стимулирует утопический мотив – начать все сначала, свободным от всех зависимостей. Человек в истории освобождается от своей заданности и очень сильно, глубиннейшим образом задает себя снова. Привязываясь к чему-то в прошлом как к своей предпосылке или прологу.

– **История повернута к нему расколом сознания?**

– Не только раскол сознания, но и движение расколом. Движение неосуществимостью, создающее собой нечто новое, незаданное.

Движение нелинейно и выражено рядом: *История-Человечество-Утопия-Революция*. В революции оно фокусируется, обретая самую духоподъемную, но и наиболее мрачную ипостась. Люди в истории долго дотягивали себя до состояния, которое можно разместить между ситуацией Иисуса и Французской революцией. Поскольку мы говорим в конце XX века, эпоха от Французской революции до сего дня представима как один отрезок. Единая эпоха, где уплотненно, с предельной интенсивностью, взлетом и с наибольшим падением разыгрывается желание превзойти самое себя. Осуществить неосуществимое и в нем воплотиться.

Но этот же мотив предстанет перед нами как Термидор. Накапливаясь веками, от парадигмы компромисса, заданной Иисусом и Павлом. Опуская гигантское Иисусово предварение, можешь поставить в начало эпохи странное событие – штурм пустой тюрьмы в Париже 14 июля 1789 года, а завершить Всеобщей декларацией прав человека 1948 года. Но можно завершить иначе, например Беловежскими соглашениями. На этом двухсотлетнем отрезке развернулась не только цепь восстаний, ересей и оборотничеств, что очевидно. Столь же развернута и той же напряженности цепь попыток человека *остановить себя* в этом. Самообузданием взыскав новую упорядоченную действительность.

Если история реальна, то здесь она достигает максимума интенсивности. Никогда прежде практикующее сознание до такой степени не соучаствовало во благе и в кошмаре. Не бывало такого, чтобы сознание в той же степени дирижировало всем процессом бытия, как в фильме Феллини. Потому сей двухвековой отрезок (с Иисусовым его предварением, как я уже говорил) можно рассмотреть как *предел сбыточности неосуществимого* – но и как попытку человека уйти, выскользнуть из исторического кошмара. Кошмара, который и есть взлет.

– **Но роль термидоров в этом мне непонятна.**

– Попытка бегства из истории, которая также сама по себе исторична, носит имя Термидора. Потому что Термидор обращен и против Революции, и против Утопии, и против Человечества – на каждую из ипостасей истории он дает основательный ответ.

Против Революции – Термидор направлен тем, что объявляет ее вне закона, противопоставленной добрым людям, обещая, искоренив ее, сделать так, чтобы та больше не повторилась. Впрочем, та продолжается, но уже в формах Термидора.

Против Утопии – Термидор направлен попыткой ее рационализировать, заместив политической текущих задач. От целеутверждающих скачков переходят к учету проблем. Проблема получает вид задачи и решается либо нет, за ней – следующая проблема. Это царство Поппера, его «открытое общество», где люди просто озадачены, а не пророчествуют о буду-

щем. Изучая, как проблемы решались раньше, они решают новые. Но действительно ли это? Так ли это даже в пределах Запада, а тем более планеты, расселенной в разных мирах?

Против Человечества – Термидор выдвигает нацию, а Истории предписывает концепт национального развития. Возвращаясь к принципу древних: Мир завершен, но не закончен. Полноценная жизнь возможна и в раз навсегда завершенном Мире, разве нет? Я когда-то говорил Сереже Чеснокову – не назад к Платону, а вперед к Платону!

Революция-Утопия-Человечество-История, принадлежащие нам, заставляют отнестись с тем же уважением к Термидору, который – *противореволюция, антиутопия, нация* вместо человечества и «конец истории». Тогда и к людям начинаешь относиться иначе. Термидор, представленный в людях, уравнивает их. Вот Французская революция и Дантон, с его великой формулой отказа эмигрировать, – отечество не унести на подошвах сапог! Вот Робеспьер, который снес голову Дантону и далее посек столько голов, помогаясь равнодействующей по Руссо, что под конец склонил свою голову, не сопротивляясь. Равные? Да, и они нам ровня. Деятельность воспоминания не то чтобы параллельна обычному существованию, но не вполне с ним совпадает, – и обе совершаются в одном человеке. Чем нас поравняло, расстоянием? Что говорить, дистанция мирволит; но не только этим.

Вот я смотрю на Карибский кризис 1962-го и думаю – кто сегодня мне ближе: Хрущев или Кеннеди? Или предатель Пеньковский, без измены которого Карибский кризис мог кончиться катастрофой? Если вся эта великая эпоха – подвиг неосуществимого, то она же эпоха, которая сделала все, чтобы неосуществимое – остановить. Не дать ему чудовищно *сбыться в качестве неосуществимого*. Та эпоха моя. Она раздвоена? И я раздвоен.

22. Человек-самообманщик. Заданность и повторное рабство. Мир завершен, но не закончен.

– Все, что происходит с человеком, вообще-то проверить нельзя. Человек ведь самообманщик. Занятый собой человек не может проверить относящееся к нему, он непременно это чем-то подменит. На вопрос «почему?» тоже ответить нельзя, хотя можно высказывать догадки.

Человек – это животное, которое самообманывается. А что такое самообман? Это уяснение себе задним числом, что представлявшееся идеальным оказалось чем-то другим. Что осуществленное оказалось неосуществленным. Выходит, ты себя обманул? Но что бы ты делал, если б не твой самообман?

Человек в огромной степени запрограммирован обстоятельствами, начиная с рождения, воспитанием, унаследованным опытом – с этой точки зрения он почти целиком задан! Но есть в нем щель незаданности. Человек не примиряется, пытается раздвинуть эту щель до освобождения от заданности, – это невозможно, это никому не удалось. Но на этой почве выросли утописты, пророки, революционеры, вожди, харизматики. Строго говоря, все люди делятся на две группы, одна из которых – большинство, отчасти удовлетворенное своей заданностью (вполне ею не доволен никто). А есть люди, которые активно пытаются раздвинуть эту щель, таких меньшинство.

Они и есть герои самообмана. То, что Гегель выразил в знаменитой тезе о хитрости разума. Поскольку мы имеем дело, в общем, с Промыслом, именуемым Абсолютным духом, осуществляющим свое движение, проделывая циклы овнешнений, а овнешнение духа в человеческой истории – это застревание. Он застревает, и ему не освободиться без усилий людей – а усилиям нужна человеческая страсть. Которая всегда совершает больше, чем нужно для освобождения, и за это расплачивается.

Я по устройству ума более податлив на самообман. Плюс обстоятельства жизни, где многое действовало в эту сторону.

Что до Ленина, тот думал, что идет путем истинным и что он свободен. Я допускаю даже, что катастрофа, которая с ним случилась, не укладывалась в его понятие о самообмане. Я допускаю, что Ленин не нуждался и в чувстве свободы – зачем она ему, если есть истина, как он полагал? Помню, до меня дошел несколько смешной смысл фразы: «марксизм не догма, а руководство к действию» – ведь руководство к действию и есть то, что делает истину догмой! В действии нельзя быть одновременно то тем, то иным. Сделав шаг, нельзя застыть в рефлексии – не сложится действие! Естественно, что там, где сочиняют руководства к действию, поначалу допуская гипотезы и варианты, мысль все больше ограничивает себя. И самообман растет. Это уже не доброкачественная опухоль живого ума, а рак деятельного мозга.

Самообман либо некое привычное состояние, либо крушение, пережитое тем, кто опознал свой самообман. Одно дело жить самообманом, а другое – ощутить как самообман всю жизнь.

В конце концов, на чем зиждется христианство? На идее Второго пришествия, которое не состоялось, но задало вектор. Вызвало к жизни духовную энергию, породило движение, организацию, вступило из культа в сферу культуры. Был человек эволюционным существом; был после существом историческим, полагавшим себя в состоянии изменить Мир посредством преобразования в Ното повus. Теперь человек на ином уровне приходит к пониманию того, что знал вообще-то каждый эллин: Мир завершен, но не закончен, другого Мира не будет.

– Приведет ли это к свободе от самообмана?

– Человек – аномалия. Наш предок был обреченная тварь. Некое обреченное существо выскользнуло из своей обреченности и из того, что ее обуславливало, сумев сбыться человеком и не ведая, куда это заведет. Самообман есть уяснение в драматических для человека обстоятельствах, что он попытался делать нечто запретное, противоэволюционное, несовпадающее с тем, что вообще человеку доступно. Потому и обреченный Ленин тревожно интересен. Может быть, он из фигур, которыми кончается мир самообмана? Который в равной мере должно назвать миром истории, пытавшимся осуществить человечество – несбыточную эволюционную идею.

23. Тайна Судного дня. Утраченные возможности. Ликвидаторы прошлого – убийцы будущего.

– Таинственная бессмертная фраза о Судном дне: все мертвые воскреснут, а живые изменятся – она ведь прочитывается, что мертвые воскреснут *только* в тех, кто изменится. В каком смысле мы должны измениться, чтобы мертвые воскресли для нас? Это непеременимое условие и квинтэссенция истории, но откуда потребность в Судном дне? Человек принимает в себя воскрешаемых мертвых, поелику меняется сам, и в меру того, как изменится. Дело в том, что, когда он, перестав изменяться, выйдет за пределы истории – наступит некоторая завершенность. Что тогда: перестав меняться, он повторяется? Нет. То, что он вышел за пределы истории, не означает, что все задано. Можно осознанно отнестись к мировой завершенности и начать действовать уже в рамках нового ее понимания.

Но в истории человек мотивирован желанием перенацелиться. Он движим этой потребностью, пока не убедится в ее неосуществимости – тем, что обрел, и тем, что потерял. Более всего это выражается в постоянно преследующей нас идее-фикс *утраченных возможностей*. Откуда эта идея, что за «утраченные возможности»? Это ж бессмыслица: утраченные по отношению к чему, и почему – утраченные? Потому что человек видит, что не вполне нов, и слишком дорого заплатил, пытаясь стать новым. Здесь меняется модус.

Россия – страна-пограничье Мира, она опережает и безнадежно отстает. Нечто давая другим, она в то же время не в силах позволить себе то, что есть у них. В России вовсе не умеют работать с настоящим. В ней буквализм понятия «прошлое будущего» доведен до предела: ликвидатор прошлого буквально готовит себя в убийцы всего, чреватого будущим.

24. Российская Федерация – злополучный термидорианец. Неудовлетворенная заявка России на обыкновенность.

– Сталкиваются глубиннейшие вещи. Обрушилась и пошла ко дну *та необыкновенная Россия* – перенапряженная, пограничная Европе себе в укор, себе в страдание. Выдохлась она, кончилась. И люди, которые без нее сами ни на что не способны, кроме как быть обыкновенными, сегодня – лживо наследуя той, необыкновенной! – расстреливают и убивают других людей.

– **Вот, казалось бы, самый момент для перехода к хорошей термидорианской политике. Разве это не термидорианская ситуация?**

– Мы действительно в коллизии Термидора. Но кто мы в ней? Коллизия по происхождению старая европейская, набравшая силу вынудить или соблазнить всех. Европейским проектом соблазняют всех, кто ни есть на земле. Причастные к тому, что состоялось на Западе, все – невольные доноры европейского проекта, который вместе с тем саботируют. Но ни из чего не следует, что все смогут жить Европой, обязаны заново прожить ее драму, что та им вообще показана!

Россия втянута в драму как соавтор европейской заявки и соавтор сопротивления ей. Не хочет принять Революцию, бунтует против Утопии и свою историю начала, объявив – устами чудака Чаадаева, жившего в Москве на Старой Басманной полтора столетия тому назад, – что Россия вообще вне истории! Буквалистски восприняв идею человечества, Россия рвется в него извне – как та единственная, без которой человечеству якобы не бывать, но без которого не умеет существовать только она сама. Пока не войдет, полностью истратившись на вхождение, и ценой именно европейских своих укладов.

Ведь и Термидор в России не привился. С Термидором у русских ничего не вышло из-за желания *утопизировать саму повседневность*. Не выровнялись История с выходом из Истории, Человечество – с отказом ему во имя Нации. И заменой Термидора пришла *сталинская антиутопия тридцатых*.

В 1993 году Россия выявила окончательную неприемлемость для себя пограничного участия в европейской коллизии. Бессмыслицей поведения и селекцией бесполезных людей Россией сделана повторная *заявка на обыкновенность*. Заявка, которая, как доказал Чаадаев, не давалась ей прежде и не дается теперь.

25. «Мы». Советские люди вернулись домой и нашли там полевых командиров.

– Из всех порождений холодной войны мы, советские люди, – самое трудно переделываемое.

– **Кто такие «мы»?**

– Мы – те, кто идет к единой цели, отсекая всякого, кто пошел к другой. Это Сталин в нас заложил со страшной силой. И я говорю «мы», потому как сам выкормыш времени. А говорить «я» не могу, мне неловко.

Возможно, вопрос «куда?» для кого-то и устарел. Многие на земле уже готовы заменить Цель сетевыми графиками задач: выполнили одну, дальше – следующую... Тогда не обессудьте: похоронив Цель, вы никогда не избавитесь от полевых командиров вместо цели. Прожить одними задачами можно в немногих местах Мира, жить так всем повсюду нельзя. И мы так не проживем, потому что Россия глобальна, она не страна, а планета. Недавно были глобальными за пределами наших границ, но теперь мы пришли домой. Пришли навсегда, вот главная трудность. Мы только-только вернулись домой, а дома у нас – планета. С братским кладбищем всех русских погубленных альтернатив.

26. Что такое альтернатива и альтернативность в истории? Пример погибшей предальтернативы.

– Что значит альтернатива? «Мне альтернативы нет» любил говорить Борис Николаевич.

– Альтернатива – это наличие нескольких способов решения одной и той же проблемной ситуации. Альтернативность превращает жизнь в открытое и в силу одновременности – разновекторное существование. Альтернативность относится к ядру развития, ибо само развитие идет в разных направлениях, и это нам не мешает.

– **Тоталитаризм был политикой выжигания советской альтернативности?**

– При возникновении тоталитаризма не было ни плана, ни расчета, да просто никаких расчетов не было. Было вытеснение альтернативы, опережаемой смертями.

Тоталитаризм негативно опередил альтернативу. Он показал, что там, где альтернатива не вызрела, запаздывает и создает политические трудности, ее можно *прервать смертями*. В качестве ответа на предальтернативность вводится убийство, смерть. Но прежде этого вводят унификацию жизни. Монополия партии при монополии аппарата внутри ее самой питает желание стереть с лица земли *лояльный плюрализм*.

Вот я беру впервые опубликованную речь Бухарина на пленуме 1929 года. Идет спор, при ожесточенных репликах идиота Ворошилова, и Микояна, который тогда Сталину в рот смотрел. Собственно, спор из-за чего? Налогообложение так называемого «кулака», то есть зажиточных крестьян. Бухарина обвиняют, что он потрафляет зажиточным призывом «обогащайтесь!» Ларин, кстати, верно говорил: «Николай Иванович, надо было сказать: не обогащайтесь, а *богатейте!* Это разные вещи». Любопытнейший спор. Бухарин соглашается – ладно, обкладывайте кулака налогом, но по нормативу, установленному законом. А не как теперь, когда применяют практику индивидуального обложения, означающую произвол. Бедняк, организованный в политотдел, и местная администрация, из гражданской войны вышедшая, творят что хотят. Одного обкладывают так, другого иначе – в зависимости от отношения, родственных связей и т. п.

Кажется, о чем тут спорить вообще? Ведь Бухарин за повышение ставок. Он говорит – повысим ставку налога, но сделаем это *законно*. Так нет же – им противна идея *закона!*

Борьба идет вокруг *нормирования самоуправства*. Единство налогообложения вело бы к некоторой «коммунистической нормальности». Человек может сообразовать жизнь с драконовским законом, но ему не сообразоваться с произволом индивидуального обложения. А власти именно важно дойти до *каждого индивидуально!* Предметом борьбы, в сущности, был допустимый объем произвола. Это военно-коммунистический реванш, где подспудно наметился сдвиг к тоталитаризму. Потому что между таким «индивидуальным налогообложением», раскулачиванием и расстрелом правовой разницы нет. Судьба каждого принадлежит монопольной группе, распоряжающейся не только правилами жизни, а жизнью как таковой.

– **Оно тогда было введено, индивидуальное налогообложение?**

– Да, оно стало практикой, а Бухарин потерпел полное поражение. Сквозь эту деталь просматривается весь процесс. То же шло во всех сферах, и в духовной так же.

Но было и советское сопротивление жизнью. Система утверждала себя экстремальностью, и советский человек в экстремальных условиях находил в себе силы сопротивляться. Тоталитарности противостояла человеческая солидарность. Лидия Гинзбург прекрасно описала эту сторону ленинградской блокады. Она говорит: люди оставались при этом так же дурны, как всегда, но знали, есть нечто такое, от чего им отказаться опасно. Отказаться от солидарности значило в блокаду – погибнуть.

27. Была ли у Бухарина «бухаринская альтернатива»? Исключаемые предальтернативы собираются в превентивную однозначность.

– Мог ли коммунизм с человеческим лицом, последним символом которого оставался Бухарин, спасти советскую альтернативу?

– Тяжкий вопрос. В общем виде скажу так: есть даты, когда протоальтернатива проступала, но ее растаптывали и вычеркивали прежде, чем она дорастала до альтернативы: 1923 год, 1928 год, 1934-й. Не говоря о послевоенном времени.

– Альтернатива – чему?

– Альтернатива недемократическим свойствам большевизма. Альтернатива политической монополии, которая не могла оформиться, ни тем более осуществиться в обход нэпа. Нэп долго был стартовой политической площадкой альтернативы. Могла ли Россия стать нэповской при большевиках, обладавших монополией власти? Или для этого нужна была смена партий и сил во власти? А может, хватило бы еще меньшего – одной смены персон?

В одном из последних, мужественных выступлений – докладе на ленинском траурном заседании 1929 года – Бухарин говорит о последовательной цельной «программе», якобы содержащейся в диктовках Ленина. Но именно последовательной она у Ленина не была. Прорывы к будущему соседствуют в ней с вчерашним словом и с верой в возможность осуществить нечто большее, чем военный коммунизм, в рамках монополии большевизма. Бухарин переступить этот порог не посмел и, не пойдя путем ревизии нэпа по-ленински, не дошел и до собственно *бухаринской* концепции нэповской России. Надо было ставить под вопрос политическую монополию партии. Иначе нэп, экономически недостроенный, был политически обречен погубить сам себя.

– Не это ли иллюзия всех советских реформаторов, которые пытались вернуться к «социалистическому выбору», думая о демократизации СССР? Где выбор будущего производит авангард сам, политически и идеологически защищенный от контроля.

– Это верно, все так. Но любая идеология притязает на знание, как надо действовать. Идеология всегда исходит из императива: мы знаем лучшее, и мы вас к нему ведем! Иначе как овладеть умами?

Беда в другом. Вычеркнутые предальтернативы слагались в *однозначность*, превентивно исключавшую *всякую* альтернативность. Однозначность получила персонификацию в Сталине. В итоге возникла система, упразднившая место альтернативного мышления вообще. Теперь система исчезла, но противоальтернативный мозг могуществен как никогда!

28. Теология безальтернативного космоса. Задано: исключить исключającego.

– То есть сегодняшняя РФ – место, лишь временно покинутое тоталитаризмом, – тот «ушел на базу»? Не демократия пришла, просто тиран вышел, завещав мозг потомкам.

– Что происходит с альтернативой в стране, где десятками лет на бумагах, имеющих значение для понимания происходящего, ставят гриф «*Секретно*»? Даже Бухарин, уже падший, готовясь давать на себя показания, пишет с Лубянки по правилам аппарата: *весьма секретно*. Ты подумай: это он, зэк, из камеры Сталину пишет – «весьма секретно»!

Надо понять, откуда росла эта мания секретности. Что означал комплекс *враждебного окружения*? Не то, что теперь думают, не глобальный раскол на блоки, грозящий перерасти в войну миров. Нет. То была убежденность в том, что последняя схватка вот-вот начнется *здесь и сейчас, в любую следующую секунду*. Она не один из сценариев: она задана, она непререкаема. Советский человек живет накануне второго пришествия. И этот заданно-внезапный Армагеддон диктует правила всему внутри. Главное из правил заданности – иного не дано!

– «Заданность» у тебя многозначное понятие. Ты не можешь уточнить, что было задано?

– Задано, что альтернативы нам в мире нет. Задано, что *их* мир исключает *наше* существование и мы должны быть готовы к их попытке исключить советское существование – всегда и во всякий момент. Но как быть готовым? *Исключив их существование*. Вот метаморфоза идеи мировой революции – чтобы предотвратить исключаемость нашего бытия мировым субъектом, нам надо *исключить исключającego*. Привести Мир к равенству по отношению к себе. Вот где центральное советское превращение, понимаешь?

Так рождался безальтернативный космос.

29. Человек повседневный. Борьба с повседневностью и ангел-фальсификатор в мире холодной войны. Повседневного человека вербуют в убийцы.

– Homo historicus был сдвоен с Человеком повседневным в едином существе. Один теснил другого внутри общей телесной оболочки; и второй сопротивлялся первому внутри нее же. Смерть, которая переопределяла жизнь каждым тактом, была так же тяжка, невыносима человеку историческому, но он в христианских катакомбах и церковных общинах переносил это состояние. Однако затем в его планетарном существе начался надрыв.

Когда мы говорим о Гитлере и Сталине – у них нет места повседневному человеку, и всякое сопротивление его должно быть вытоптано. Таких-то людей, такой-то народ нужно уничтожить полностью, чтоб остальные навеки отвыкли жить в повседневности. Но во что тогда обратится история? Тогда формула Павла о том, что смертью заново открывается жизнь, оборвется на первом же члене – смертью подтвердится лишь смерть.

– В Ленине тоже было определенное сочетание человека исторического с повседневным?

– Да, и повседневный имел законное место в его концепции. Человек повседневный получил у Ленина довольно высокую позицию. Ведь усвоенная им коллизия Чернышевского в «Что делать?» заключена в чем? Автор видит, что его «новым людям» опасен Рахметов. Который поднял повседневное в себе и собой принуждает других. Чернышевский бережлив к повседневности. Но напрямую ту не спасти, и он «на малое время» вводит Рахметовых. А вслед ему придут *добрые злые люди*, то есть обыватели, и это будет правильным.

С этой точки зрения знаменитые смешные гвозди, на которых Рахметов спит, – это *жало в плоть*. Того символического порядка, что мы позволяем апостолу Павлу, но не прощаем Ленину, когда он говорит, что каждая кухарка должна уметь управлять государством. Никто не задумался, почему Ленин не сказал: *каждый рабочий*? Что больше отвечало ортодоксальному марксизму. Но тогда фраза не имела б никакого смысла. Именно у кухарки, обывденного человека обслуги, ее обобранная жизнью обывденность развернется в присутствие субъектом процесса – в суверенность.

– Постой, но революция ничего такого не обещала. Ты за белых или за красных? Если за белых, то должен быть ликвидирован. «Извольте стать к стенке», – пишет Ильич про Устрялова.

– Но в качестве красного ты *должен* стать новым человеком! Что особенно у Платонова гениально заложено. Гоголь-Достоевский-Платонов, этот ряд бьет в глаза. И таинственный императив Чернышевского – вот новые люди, их час настает, но затем они должны *вовремя уйти*. Они хоть и новые, но не смеют и не должны пытаться стать всеми.

Экстреме нельзя быть постоянной, экстреме нельзя дать стать нормой! Экстрема показана лишь как катализатор новой нормы. Новая норма (это идет от Руссо) сидит в человеке, и «новые люди» ее выводят наружу, коль та человеку показана. Вы освобождаете всех? Так будьте добры, сами уступайте место. Новые меняют норму, тот уровень требований, которые люди по доброй воле относят к себе. Единственная их привилегия: кто ниже их, тот низок. Но тут вся коллизия только начинается. В Рахметове исторический человек лишь на время присвоил роль человека повседневного. Но далее мы получим уже Гитлера и Сталина, которым нужно вытравить из себя человека повседневного с тем, чтобы повседневных людей истреблять. Это уже не прежний исторический человек – это *оборотень*. Им обрывается

первичное: «смерть задает жизнь» – смерть задает лишь себя самое. И в этом ни рахметовского, ни тем более повседневного ничего нет.

– **Не его ли теперь именуют пренебрежительно «совком»? Ощущение ненормальности этого человека: он извращен, ему не дают возможностей, у него все отняли, нет ни нормального быта, ни отдыха.**

– Но у него есть звездные часы. Ощущение причастности к истории наполняло внутренней радостью, как по Станиславскому «птицу для полета». В советской жизни важно оспаривание человеком повседневным человека исторического, в ответ на экспансию последнего. Повседневность противится, а человек ее оспаривает. Это оспаривание питает высокую советскую культуру, откуда и происходят ее звездные часы. Но при слиянии, при сталинском схлопывании обоих оппонент исчезает.

– **А что с самим человеком?**

– Появляется ангел-фальсификатор, Мефистофель самого банального разлива – умелый манипулятор, который ситуацию подчиняет себе.

– **Ясно. Человек повседневный был отвлечен человеком историческим от повседневности и соблазнен?**

– Отвлечен от порядка жизни как *смысла*. Далее в холодную войну сталинско-гитлеровская ситуация смерти вытеснилась, но чем? Отсроченной глобальной смертью, панубийством. И немедля обнаружилась невозможность примирения с действительностью. С *такой* действительностью примириться нельзя ради любой цели: свободы или открытого общества, социализма или третьего пути. Средства холодной войны несовместимы ни с целью, ни с человеческими намерениями *как таковыми*. Нет ни одного намерения, потребности, внутричеловеческого зова, который мог быть реализован в рамках холодной войны. Но рамка сложилась – и что теперь?

Разоружаются державы. Внутри них, придя в упадок, разоружается человек исторический – и на свободу выходит *человек повседневный*. Выйдя пустым, он в сумерках истории набрасывается на чужака. Например, на чужой этнос.

30. Опровержение заданности как опровержение смертности. Лишние исторические существа. История есть делаемая история.

– Теперь, побывав на земле и многое испытав, я ясно сознаю, что человек в огромной степени задан. По нынешнему поверью он еще в утробе заполучает характер, нрав, отношение к миру и так далее. Но если и не так, есть семья, среда, нормы окружения, предание. Втесненное представление о том, что было до него, и усваиваемое представление о том, что будет с ним.

– Ты шпаришь по марксову определению, что человек свободен по отношению к чему угодно, но не к предпосылкам, которые его сформировали. Так это история или это заданность?

– Сейчас окончу о заданности и скажу об истории. Если взять во внимание то, насколько человек задан, оказывается: все, что именуют свободной волей или случайностью, – тот узкий сектор реального, где заданность не абсолютна. Но есть обратное движение, идущее от человека. Стремящееся эту брешь, короткий интервал между заданностью и тем, для чего мы проживаем свою жизнь, максимально раздвинуть, доведя до *абсолютной незаданности*. Которую мы можем назвать случайностью или чем-то творчески непредусмотренным.

– **Ты уверен, что случайность тут верное слово?**

– Я хочу сказать, что это обратное движение, стремление раздвинуть брешь незаданности и есть история. Стремление человека раздвинуть зазор, поправить заданность и над ней возвыситься.

– **Опровергнуть смертельную природу?**

– Опровергнуть до полного исключения ее из человеческого существования! И если заданность – тягота, то история – освобождение, несущее в себе будущие тяготы и формирующее вторичную, от самой истории идущую заданность. Так что, когда мы сопротивляемся заданному, мы видим ее уже не в чистом виде, а в смеси, где трудно различить сорта и истоки заданного.

Мы в 1930–1940-е годы каждодневно, каждочасно пребывали в истории, полные естественности своего в ней присутствия. Все, что происходило с нами и нами делалось, – все было в ней, ничего, кроме истории, не было. То, что мы существуем в составе Вселенной, где история далеко не все, нами признавалось, но во внимание как-то не принималось. Все, что не история, было *пред-история*, *до-история*. А понятие «вне истории» воспринималось как негативное: кто-то еще не дорос, не дошел, недопонял и не включился. История ему все равно предстоит, а пока он застрял на входе в нее, циклическим недоноском.

Драма начинается в состоянии человека, где история действительно заполняет для него все. И человек переподчиняется тому, чем и кем история вершится, и тем, кто ею распоряжается, «*хозяевам истории*» – кто в ней господствует и ее выражает.

– **Почему это драма? Просто один из типов сознания, историцизм.**

– Оно драматично, потому что над тобой повисает вопрос: если все вокруг есть история, а ты с ней не совпал – как быть? Ты отщепенец, изгой, диссидент? Лишний человек? Все это пройдено русским XIX веком – мы это пережили, то принимая, то отклоняя от себя. Вещь, непостижимая на расстоянии от темы русскости.

– **Да, и я в юности этим страшно мучился. История вот она, рядом: Октябрь, война, Союз – как мне в нее войти?**

– Раздвинув понятие истории до всеприсутствия – «история Галактики», «история амёбы», «история Земли», – мы теряем историю в ее строгом человеческом смысле. *История есть делаемая история*. Потому что человек не только обнаруживает, что он в истории, он ее делает. То, что *история делается*, входит в ее определение.

Что до предшествующего, там мы имеем целые полосы человеческого существования, где нормой были выбраковка и отсев. Отсеянное шло в никуда. Эволюция действует по собственным правилам. Эти правила, хоть и осложнялись такими свойствами человека, как речь, как слово, но еще не до той степени, чтобы слово определяло собой человеческую жизнь, причем определяло ее в формах истории. Однако внутри истории оказалось, что в роли палача слово даже страшной эволюции.

Сегодня легко говорят, что между Октябрьской революцией и Кампучией Пол Пота принципиальной разницы нет. Почему? Не потому что убивали всех подряд и был, как нам теперь внушают, какой-то «геноцид нации». Тут верней говорить о *самогеноциде*, он бывает с людьми. Но и я полагаю, что решающей разницы нет, поскольку в основе *культ результата* – ритуал веры в вездесущую историю, всепобеждающую, ведущую и ведомую.

Часть 4. Категории русской и советской истории.

31. Историческое невежество российских лидеров. История России состоит из цезур.

– Для России губительна роль исторического невежества лидеров, которое устрашающе руководит их поступками. Для нынешних лидеров России непроницаемо темна уже первая оттепель 1950-х, не говоря о страшном и труднообъяснимом даже для современников сталинском сюжете. Что говорить про чаадаевский вопрос и XIX век?

Ельцин заявил, будто возрождает 1000-летнюю Россию. Он что, верит, что Россия тысячу лет была той, какой он взялся ее «возродить», и в таком составе? Он просто ни черта не знает. Русская история видится ему непрерывной, а ведь она – цепочка цезур. Внутри себя она несколько раз рухнула и начиналась заново.

Ни один квалифицированный историк не скажет, что маленькие славянские княжества простым «ходом исторического развития» могли за столетие вырасти в державу, простершуюся до Тихого океана. Эту возможность открыло Москве сокрушительное событие нашествия монголов. Последний центральноазиатский кочевой выброс – не простая пауза в сплошном процессе, а цивилизационная катастрофа домонгольской Руси. Обвал русскости, а там уже – возобновление русской истории заново из руин, в ипостаси *российской*.

Многажды начинаясь, русскость никак не могла собрать своих начал в нечто государственно завершенное. Если у политика-лидера нет сознания этой опасной *прерывности* русской истории, он сам опасен для России. Без сознания страны в ней нельзя правильно действовать, историческая интуиция должна подсказывать государственные шаги.

В России, где предки – в советниках, а кровавые призраки – в наставниках, лидерский масштаб крайне важен. Политике общества следует приобрести вид селекции лидеров, знающих масштаб своей роли. Когда существование страны веками облечено в формы трагедии, нужно, чтобы ее политик посмел войти в трагедию действующим лицом, чтобы он поднял себя до ее уровня.

И вот момент, когда истекают века, – ведь в этом фарсовом декоре Москвы история завершается. А человек, ведущий страну к концу столетия, не смеет стать их воспреемником, поскольку не предощущает финала!

32. Беглецы от власти формируют власть. Русский как человек, втягиваемый во власть. Русский Мир и русское человечество.

– Кто создает из Московской Руси Россию? Люди, беглые из крепостного состояния на свободу в казаки.

– **Русские конкистадоры?**

– Они не конкистадоры, а беглецы, жаждущие воли! Бегут от власти, а та их догоняет, вбирает в себя – и они становятся субстратом власти. Оттого из их среды мог выйти человек, объявивший себя императором Петром III. Все его окружение знало, что он Емелька Пугачев, их это устраивало. Они уже вошли в контекст русской власти-самозванки. Конкистадор тоже бывал беглым бандитом, но это несколько другая фигура. Казаками формируется человеческая плоть властного пространства.

– **Хорошо. А вот с русскими тут что происходит?**

– Почти никто в мире не обозначает себя прилагательным, как мы, прилагательное «русский» стало именем существительным. Спазматическое превращение маленькой фрагментарной Московской Руси в гигантскую Россию просто не сумело выразить себя в этнониме.

Даже при численном преобладании русских пространство не стало *русским* ни в национальном, ни в этническом смысле. Все дело в его происхождении. Откуда и взялась парадигма, в которой работают разнородные течения мысли: что русскому можно войти в человечество, только сделавшись *русским Миром* у себя дома.

С этой точки зрения Достоевский говорил, что ему нужно *русское человечество*. В той же степени, как неправославному Чаадаеву. В такой же степени, как политикам мыслящего движения 1970–1980-х – Александру Михайлову и народовольцам вообще.

Отсюда под конец выйдет Ленин с его русской мировой революцией. Россия – единственная страна, где можно было осуществить Маркса, которого Запад, приняв как мыслителя, отверг как руководство к действию. Зачаток программы Мира миров выступил в форме русского негатива и в этой негативной форме достиг предела интенсивности.

33. Краткосрочность русской истории. Евразийские империи выгоняют внутреннее противоречие наружу.

– Обстоятельство, о котором следует помнить изначально, относится к *срокам*. Русская история началась сравнительно поздно, искать в ней что-либо раньше X века – занятие пустое. А говоря об истории России, то и позже – века с XV-го. И это не самоумаление, а коренной факт – русская скоротечность. Россия – это исторический взрыв.

Она спазматически быстро вошла в Мир, становясь евразийской империей, похожей и непохожей на другие империи. С особой моделью входимости в Мир, образующей вечный фактор ее политики, при любых руководящих идеях или правителях. Экспансия навсегда застряла во властном теле этого организма, слишком быстро проскочившего из детства во взрослые.

Подсознательным русской истории стало *исключение внутренних противоречий выводом их вовне*. А последнее создает новые конфликты. Перешагнув оптимальные границы, государство сохраняет единство только через унификацию и нивелировку, изглаживая внутренние различия. Что достигло крайнего предела при Сталине и обрекло на развал Советский Союз. Но постоянная жертва при этом – русские.

Говоря о России, движении русской мысли и трагедиях мыслящих людей, надо видеть пространственные объемы, в которых это происходит. Их пределы становятся тайной репоной и трагическим стимулом движения мысли и образа.

34. Царь Иван Грозный и евразийские инновации. Государев двор, опричнина и холопы.

– Русскую государственную историю можно отсчитывать от царствования Грозного. Это **Big Bang**, «Большой взрыв» для русской вселенной.

– Контекст мыслей царя Ивана в его свободе обращения с библейскими текстами при пафосе самодержавной власти. Его действительная вера в Божье предназначение и в Божье присутствие при полном разрушении всей прежней личности Ивана Васильевича. Они с Курбским ведут разговор на разных русских языках, его трудно назвать «перепиской». Курбский напоминает, как славно было в первый период царствования, пока Иван вел реформы в согласии с ближними, а царь ему: о чем ты? как смеешь, смерд? кто я и кто ты? Из камней сих воздвигну детей Аврааму! Здесь Россия, входящая в Азию, и Иван Грозный, на царствие всходящий. Недаром народное предание связало введение титулатуры царя с взятием Казани, хотя хронологически все не так.

Об опричнине разговор особый. Веселовский спрашивал, как это Василий Осипович Ключевский не видит, что в основу опричнины взят государев двор? Только-только складывалось компактное устройство московских великих княжений, как прибыло вдруг несметное пространство. Территория, которую нельзя включить ни в уделы, ни в великое княжение. Нет ничего политически готового, во что можно втянуть Заволжье с Сибирью и освоить в государственном смысле. А что есть под рукой? *Государев двор с холопьями.*

И царь Иван нахлобучивает государев двор на все новое пространство. Это опрокидывание холопства на Евразию – гениальная политическая импровизация безумца Грозного, Веселовский совершенно прав. И ясно, отчего Ключевский, желая идти нормативным путем государственно-исторической школы, не принял аномально абсурдный ход царя Ивана.

Высочайший взлет власти далее прокатывается по человеческим судьбам. Парадигма Грозного – холопский оттиск, который он оставил России. Грозный поэтому главный родоначальник Смуты и соавтор всех будущих смут.

35. Злодеи развития. Царь Петр на Евразийском пространстве экспансии. Крепостничество, колонизация, самодержавие.

– Есть понятие, впервые употребленное Достоевским, но применимое и к человеческой истории вообще – *злодеи развития*. Развитие, осуществляемое злодейством, имея главными героями злодеев, не теряет свойств развития. Но злодейства его переиначивают, а переиначивая – обновляют и драматически обогащают. Не случайно это понятие придумал русский человек и писатель.

Иван Грозный – идеальный злодей развития. Откуда такая вещь, как опричнина? Безумец он или политический гений, даже на это непросто ответить. Человек удельного княжества, малого мира, перед которым вдруг распахнулось, как дар свыше и как возможность, евразийское *пространство экспансии*. Но этот человек не умел решать задачу управления властью при ее спазматическом расширении. От Московской державы, которую сегодня всю проезжаешь на электричке, – к пространству, где авиалайнеру нужен день, чтобы долететь до Тихого океана. Эту непосильную задачу власти царь Иван решал полубезумным, однако новаторским для средневекового человека способом.

То, что он изничтожал носителей удельной независимости, не была лишь централистская акция. Моделью устройства он выбрал государев двор, состоявший из самого государя, его рабов и холопов. Понятие холопства – рабство, но не в обычном юридическом смысле. Холопство было распространено еще в Киевской Руси и становилось чертой, отходящей в прошлое. Царь Грозный его обновил, превратив подданство в поголовность холопства. Холопство стало понятием поведенческим и ментальным. Пушкин трудился над историей Петра Великого, благоговей перед ним. Но всмотрелся в документы архива и отшатнулся в ужасе, говоря, что всё вокруг Петра – рабство.

Что такое колонизация Сибири? Откуда вообще появился тульский кузнец в Тагиле? Как возникла гигантская крепостная корпорация, и Россия вдруг начала экспортировать чугун? Синхронно росту экспорта чугуна идут зверские гонения на старообрядцев. Теснимые особенно царем Петром, при котором усиливаются их массовые самосожжения, *гари*. Понуждая их отказаться от веры, Петр облагал налогом не только бороды. Обкладывали специальным налогом дубовые гробы, в которых старообрядцы хотели сохраниться к моменту Трубного гласа. Подобно Грозному, император Петр – образцовый злодей развития.

Задержимся на слове *самодержавие*, то есть власть единственного человека самого по себе. Это не абсолютная монархия и не пережиток Средневековья. Это автономная государствообразная структура, которая «сама себя держит», сочетая архаику с умением приспособиться к новизне. Не один историк задавался вопросом Покровского – как в рамках такой политически заостенелой системы мог развиваться материальный прогресс? Как внедрялись новации европейского развития, иногда опережающие капиталистический мир?

При цепкой устарелости единовластия в России *не возник институт* правительства – министры прямо докладывали царю, а комитет министров был лишь совещательным органом. Огромна роль того, что звалось «государев двор» и что оставалось архаичным центром власти до 1917 года – и теперь под именем Администрации Президента вернулось в сегодняшний день.

Отношениями холопского рабства пропитана политическая история России. История русской культуры, история русского слова и судьба русских гениев не могут быть рассмотрены вне опытов преодоления рабства в себе и в других. Чехов, говоря о молодом человеке, который «по капле выдавливает из себя раба», имел в виду и себя, и всех. Мотив освобож-

дения раба проходит сквозь все движение ума и слова в России. В нем пролог и пружина русской истории.

36. «Новые люди» против холопства. Просто рабы и рабы потерянной роли.

– Холопство, то есть поголовное рабство там, где нет его в юридическом смысле, означает рабство добровольное, отчасти неосознаваемое рабом. Это краевое понятие проходит сквозь человеческую жизнь в России.

Есть знаменитое зацитированное письмо с высказыванием Чехова. Он мечтал написать рассказ о молодом человеке, который выдавливает из себя раба, каплю за каплей. Иллюзия, за которую приходится расплачиваться, будто от рабства можно освободиться рывком, сильным действием или поворотом в жизни. Нет, только так – капля за каплей. А стало быть, работы здесь на поколения.

Вообще, *человек задан*. Задан традицией и тем, как его учат говорить. Он перенимает, воспринимает. Всего он достигает уже готовым и всем этим задан. Когда-то человек так выстроился, он единственное из существ, чей детеныш столько живет при родителях. Стало быть, у него есть время всему выучиться. Но он еще и протестует, наше детство – это годы сопротивления. Ты должен выбиться из заданности к тому, чтобы как-то стать самим собой. Заданность свирепа. Она вызывает первопротест – эмбриональный протест человека, желающего выйти из зоны опеки, даже когда та полна удобств.

Сидящее в человеке сопротивление заданности – узкая территория, где он может сделать выбор. Которую стремится раздвинуть до предела, до всей полноты счастья, до абсолюта! Мотив истории и другой ипостаси ее, революции, – в яростном стремлении раздвинуть щель сжатых сроков до счастливой полноты новой изначальности.

Кто эти люди, что в наибольшей мере воплощают жажду выбраться из заданности, – наши благодетели? Или они сооружают другую заданность, замещая прежний режим рабства втесняемым новым? Решающий критерий – *функциональность* «новых людей». Способны ли понять, дойдя до политического действия и поступка, что нужны людям лишь ненадолго, на краткий момент, пока преодолевается заданность? Что они, сегодня популярные и всем нужные, должны примириться с тем, что завтра станут вредны? Что им надо вовремя уйти, а не уйдя они – *рабы новой роли*, опаснейшие из рабов, навязывающие свою волю другим.

Можно дать обзор человеческих существований под этим углом – заданности и сопротивления ей. Узкой зоны выбора, при стремлении оптимально раздвинуться, с появлением новых *рабов ситуации* – *рабов своей потерянной роли*. В облики самозваного рабства они опасны всем, кто за ними пошел. Опасны неготовностью к тому, что теперь им придется творить, зря проливая кровь и примучивая народ к самим себе, втайне мечтающим о побеге. Однако побег уже невозможен. В конце жизни и Ленин – «усталый раб, замысливший побег».

...Как плотен процесс! И это относится не только к культуре. Это же относится к русскому языку, на котором говорит культура. «Слово о полку Игореве» мы читаем в переводах, даже Радищева не понять без словника. Первый настоящий русский философ Петр Чаадаев писал вообще по-французски, и так же говорили между собой сливки русского дворянства.

Тот русский язык, в котором можно воплотить русскость и «написать жизнь» в многообразии ее проявлений, создан одним человеком – Пушкиным. Конечно, он не единственный, но наш русский язык, язык поэзии, прозы и драматургии, язык судьбы – это он, Александр Сергеевич. Итак, перед началом XXI века мы обитаем в языковом пространстве примерно двухсотлетней глубины, внутри которого русский язык прожил мировую историю полностью и состарился. Он познал неслыханные взлеты, эпохи обогащения, но и времена огрубления, варварской регламентации и «канцелярита».

37. Народа нет, но ему принадлежит будущее. Листовка Чернышевского как заявка на народность. Декабристы народней народников.

– Кто в этой схеме народ? Явно не холопы, но кто?

– Народ – мифологема, категория, к которой прибегнет монархия, когда у нее возникает проблема опоры. У постдекабристского царя Николая она возникла впервые. Отсюда идеологическая триада: *православие-самодержавие-народность*, где новым членом и является народность. С чего бы императорский двор ввел в кредо народность, если б не нуждался в опоре? Народ – это искомая, загадочная субстанция – те, на кого нельзя опереться теперь, но кому принадлежит будущее!

Та же дилемма у разночинцев: рассчитывать на народ в его нынешнем виде революционерам нельзя, но ему принадлежит будущее. Что многое объясняет в Чернышевском: да, на народ рассчитывать глупо, но есть моменты, когда народ себя проявляет с энергичски бушующей силой. И надо приготовиться к такому редкому случаю. Но дать случайному перейти в нечто постоянное нельзя, поскольку народ для этого не приспособлен.

Отсюда его знаменитая листовка, за которую у советских историков сыр-бор, а Чернышевскому – каторга («Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». – Г. П.). Бессмысленная затея, но по-человечески понятная: дали печатный станок – как публицисту устоять? Костомаров-втируша умеючи в душу влез. Чернышевский надиктовал листовку, не желая, чтобы почерк узнали, да еще перепутал проект реформы с официальным ее текстом. А в чем содержание громкой крамолы? Что там великий революционер предлагает народу? Да ничего вообще! Вас обманывают, то-се, пятое-десятое, а вот в дальних странах есть народо-властие... А делать то что? Ничего – ждите, подадим сигнал.

Кому в безграмотной стране нужна такая бумага, отпечатанная на костомаровском станке? Кому она адресована, кроме полиции? Это всего лишь запальчивая реакция Чернышевского на листовки, что уже навывпускали «новые люди», рвущиеся к самостоятельным действиям в обход властителя дум. Не тронь народа – он мой!

Конечно, категория народа в России имела некоторое основание. Были циклически повторяющиеся народные войны, то отечественные, то крестьянские. Было то множество, которое Кавелин называл *калужским тестом*. Есть его выражение – *в России не народ, а калужское тесто*, всякий пеки, что желаешь, – масса без выделенных интересов, разграниченных сфер, без воли к действию. Русская размазня и неопределенность, а с другой стороны – две мифологемы «народа», два посягательства: абсолютистское и народническое.

Как-то выступая в Институте истории, я сказал (что мне тут же зачислили в «реви-зионизм»): ошибался Владимир Ильич – не декабристы «страшно далеки от народа», эти близки, но страшно удалены разночинцы! И оттого далеки, что из народа вышли. Вышли, и отделились – вернуться нельзя, идти вперед не с кем. Русскую армию разночинцам было не поднять, а декабристы умели – да какую армию! Жившую на бивуаках вровень с офицерами, ту, что войну с Наполеоном прошла. Декабристы много народней «народников».

38. Невольный компромисс князя Трубецкого.

– Чем близок мне князь Сергей Петрович Трубецкой – тем, что, потерпев поражение, принял вину на себя? И у него при этом еще хватило чести сказать, что люди ему не судьи. Мне хотелось бы прояснить, как религия произвела духовный перелом в человеке, даже если этот перелом сопровождался принуждением к исповеди, где мы вправе говорить об инквизиции.

Какой смысл Трубецкой вкладывает в слова «жертвы нашей надменности»? Здесь не надменность как таковая, а злоупотребление правом вовлекать в свои действия других, потеря меры в этом. Действующий человек не вправе привлекать других к делу вслепую, но проблема меры в этом всегда открытый вопрос. Ставят этот вопрос или о нем забыли и он стерся из человеческих душ, как произошло у нас? От масштаба не уйти – жили в России, живем и в этой земле останемся. Уйти от поражения? Да – раз наше поражение у нас отнимают.

Надо сказать о самом событии 14 декабря – о его неожиданности. Внезапность того, что было единственно доступно людям, принимавшим решения. И моя память о том, как я сам пережил поражение. Причем не внешнее, как бывало в 1930-е годы. Мы начинали жить в 1950-е и, пройдя уже большой кусок жизни, были снова захвачены врасплох. Поражение зрелого человека – это внутреннее поражение не знающего, чем и как на него ответить. Когда такое случилось со мной, в 1968-м на выходе была наша главная книга – «Историческая наука и проблемы современности». Проблема сузилась у меня до одной: порвать и, уйдя, поставить под удар книгу – либо отступить в сторону *на время*. Но каким ему быть, этому времени?

Князь Сергей Петрович мне близок надменностью и мерой, которые ему надо было связать. Мне тоже мои компромиссы запоминались тем, что все они были связаны с загадкой меры. Где эту меру взять, чем определить? Мера – пространство? Нет, пространство выживает. А вот время, этот скачок мыслей, оперирующих будущим, рассматривая все прочее как помеху...

39. Погоня за временем и «жертвы надменности». Выход ПУШКИНА на сцену. Завязка спора с Чаадаевым. Писатель Гоголь: мертвые души – это мы и наши товарищи.

– Пушкин входит во взрослую жизнь в момент, когда тогдашние «взрослые», в сущности, молодые люди, уже проделали огромный биографический путь. Они вышли из XVIII века, пережили умерщвление Павла, воцарение Александра с его либеральным зачином и падение Сперанского. Они прошли войну 1812 года и европейские походы победителями Наполеона. Михаил Орлов в 25 лет принял капитуляцию Парижа. На них лег отблеск великих дел.

Ниоткуда поначалу не видно, что Пушкин среди них станет тем, кто напишет «Медный всадник», «Капитанскую дочку», «Пиковую даму», великие стихи ухода. Ничем это не предвещалось. Страшное событие 1825–1826 годов низвергло Пушкина и сделало падшим, но затем в нем открыло пророка, принявшего декабризм за вызов себе. Пророку дозволено первым к пророчеству приобщить царя – властителя человеческих судеб и душ. Взять за опору то, что отвергли погибшие друзья – русское владычество над телами и над душами человеческими, – своим пророчеством его наполнить.

Чаадаев говорит: России не бывать. А Пушкин – бывать, но такой, как я ее напишу. Третьим сюда придет Гоголь.

Немыслимо, чтобы кто-либо написал «Мертвые души» до 14 декабря 1825 года. Сцена должна была освободиться, чтоб за опустевшей авансценой проступили эти морды и хари. Гоголь: знакомьтесь – вот я и мои друзья. Кстати, это и вы также – сто тысяч тех, с кем декабристы думали основать Русскую республику, либо, по Пестелю, вычеркнуть из жизни. А они – это мы! Со всей нашей Россией чудовищной.

Отсюда «Пророк» Пушкина и его «Стансы». Отсюда чаадаевская «Апология сумасшедшего» – о том, что Россия будет впереди всех, хотя исходно она ничто. Из ничего – в опережающие, идущие непроторенной Миром дорогой. А Гоголь им всем: миром непроторенная, говорите? Да там у вас пустошь до Тихого океана, и почтовая станция со смотрителем, который всем отвечает: нет лошадей!

Вот что родило в Гоголе образ Руси-тройки, а Пушкина привело к царю Николаю, ради «контрреволюции революции Петра».

40. Пушкин ищет в России личность. Царь Николай как «второй Петр». Совесть – не нравственность, личности прощительно почти все.

– По Пушкину, царь Петр «уже есть целая всемирная история».

– Пушкин упорно искал личность второго Петра в Николае Павловиче. Личность царя нужна его, пушкинской, личности. Пушкин насквозь монархичен, но с выходом на простор личности, внесловной по природе. Николаевский Пушкин избывает вольность. Что для него свобода – не вообще, а в России после 14 декабря?

Свободным лицом признан и призван к действию *обособленный человек*. Не сам по себе, но как личность. Пушкину нужен тот, кто в условиях «нашей проклятой России» *способен сам что-то сделать* – будь он поэт, будь царь, будь он хоть Пугачев. Поиск личности для него стал политикой.

От тайного общества к обществу всея России вольностью не пройти, раз так – ставка на личность. Но в каких свойствах личность может стать деятелем в масштабе России и, так сказать, *действовать*? Тут важны особые черты, равно свойственные Николаю и самому Пушкину – их тяга к воинственному. Удачливая державность Николая начала его правления. Николай сам человек XVIII века, и Пушкин в нем различает столь ценимый им XVIII век. «Вторым Петром» Пушкин отнюдь не льстит и не предлагает царю повторять прошлое: зачем, ведь можно *повторить личность*.

– **А на чем произойдет слом – на личной мелкости Николая Павловича?**

– Нет, на том же Петре Великом – в Петре Пушкин так и не обнаружил своего героя. Личности он простил бы все, однако своей личностью он никак не уловит личность царя Петра. Личности прощается все, если она личность, – *а если нет?*

Тогда наступает час, о котором пушкинский Барон сказал: могилы начинают разговаривать. И на все это будет дан страшный ответ: да все ваши личности – просто мертвые души! Гоголь маниакально твердил, что все, кого он описал в «Мертвых душах», не выдуманы, они его знакомые и приятели. Я не каких-то дремучих помещиков описываю – это мы, это наш с вами круг, Александр Сергеевич!

– **Почему вообще Пушкин думал, что личности прощительно все? Он так же immoralен, как Ленин?**

– До разночинцев в России проблему нравственности не заостряли. Нравственность в чистом виде – категория искусственная, она чревата жутким насилием над человеком. Тема *насилия нравственностью* для русского – важный вопрос. Здесь лучше держаться швейцарской позиции: чистая совесть – это выдумка Сатаны.

Для Пушкина совесть – это не нравственность. Собственно пушкинская тема в совести – насколько ты личность? Он каждого испытывает на единственное, чем можно устоять на поприще пространства России – пожирательницы времени. Кто в ней сумел что-то содейть, тот личность.

41. Пушкин защищает авантюристов и едких вольтерьянцев XVIII века.

– Отчего поздний, «николаевский» Пушкин всегда защищал XVIII век? Почему так отстаивал его в полемике с Лажечниковым и с Чаадаевым? Ведь XVIII век бедственный для России. За петровские реформы страна платила долго и страшно, повторением разора в людях после державного первотолчка Ивана Грозного. Но вместе с тем то были люди с резко очерченной индивидуальностью.

Целый век прорабатывал русскую индивидуальность. Всплеск индивидуальностей у власти ведет к взлому старобоярской России. Какие судьбы! Алексашка Меншиков в творцах победы под Полтавой, а после в ссылке в Березове. Гениально неграмотная картина Сурикова точна: если его Меншиков встанет в этой избе во весь рост, он проломит крышу – такова масштабность индивидуума в тесноте эпохи. Полускоморошья-полугениальная фигура Суворова. *Едкие вольтерьянцы XVIII века*, так о них говорили.

В пространственном модусе (который на деле – особый антропологический масштаб России) оценки поступков идут по иной шкале. На расстоянии утверждая достоинство личностей, Пушкин прощал им все. И я понимаю, почему он всех в XVIII веке защищал, возводя в достоинство личностей, – их не было рядом.

42. Кто такие индивидуалисты XVIII века? Князь Барятинский и русский портрет.

– Уже с начала XIX века Пушкин вступил в спор со своим веком. Это объясняет его настойчивую реабилитацию русского XVIII века в его подробностях, деталях и исторических фигурах. По воспоминаниям Лажечникова: ну никого Пушкин не уступает, даже Бирона! Все ему хороши, все – крупные индивидуальности.

Когда я писал историю партии, мне раз досталась путевка в цековский санаторий, в Марьино. Марьино на границе между Курской и Сумской областью. Еду в Курск, поезд пришел перед рассветом. При восходе солнца подъезжаю к Марьино, попадаю в дивной красоты аллею. Еще поворот – и открылся белоснежный дворец.

Это старик Барятинский, вельможа XVIII века, обладая тысячами крепостных и тысячами десятин земли, уйдя то ли в опалу, то ли во фронду, показал царям, что может построить. В абсолютно голой степи (все, что он настроил, осмотреть можно только с вертолета) – колоссальный английский парк с волшебным микроклиматом. Деревья выписывались из разных стран мира, причем Барятинский знал толк и умел выбирать – все изысканное по красоте, воздуху и вкусу.

К каждому дереву приставлен был крепостной, отвечающий за сохранность. Выписали англичанина, доку по части сооружения системы искусственных прудов. Закончив строить свой парк в степи, с перемежением рощ и открытых лужаек, Барятинский поставил два памятника: этому англичанину и своему крепостному, кирпичных дел мастеру.

Уже в XIX веке такой человек гляделся анахронизмом, а на взгляд молодых людей вырожденцем: дикий рабовладелец! Из старцев, кто «сужденья черпают из забытых газет времен Очаковских и покоренья Крыма». А в XVIII веке князь Барятинский – то ли чудак, то ли опасный анахронизм. Первым в России выстроил крепостным богадельню и открыл школу. В библиотеке Барятинского нашлась рукопись радищевской «Вольности».

На рубеже веков в дворянской культуре образуется провал, цезура. Красочная, экзотично выраженная индивидуальность в обширных интерьерах екатерининского века – непреходима в *личность*. Проблема личности встает как трудная задача, которая ищет себе почву и, не найдя ее, станет трагичной. Но эта недающаяся личность притягивает на несравненно большее, чем едкие насмешники XVIII века.

Необъяснима мощь русского портрета XVIII века: Рокотов, Левицкий, Боровиковский. Почему только в портрете индивидуальность проявляет себя? Все-таки круг портретируемых задан их сановностью и богатством. Но вот индивидуальность проникает вниз и выводит образы Пугачева с его окружением. XVIII век придал такую интенсивность индивидуальному, что оно сделало первую заявку на личность – но здесь застряло. Век, внутренне скованный иерархией, самодержавностью и холопством, не в силах выйти на личность.

43. Пушкин «как вылитый». Оттиск его судьбы в программе русской культуры и тайной полиции.

– В 1937 году в Историческом музее открыли выставку к пушкинскому юбилею – ах, какие там были портреты!

– **Знаменитая выставка. Пушкин у врат Большого террора – неужели ты ее видел?**

– И много раз там был. Но не включаясь в экскурсии, они меня раздражали. Мимо как раз шла одна такая экскурсия. Висят пушкинские портреты, экскурсоводша говорила: вот портрет Тропинина, Пушкин здесь стилизован и приукрашен, а вот кисти Кипренского, этот ближе к подлинному Пушкину. Экскурсия прошла, я стою у портретов, одна женщина задержалась. При моих двадцати тогда она мне казалась старушкой, но просто пожилая женщина. Пристально рассматривает тропининский портрет и самой себе громко шепчет: *«Ну прямо как вылитый»!*

Ты бы слышал, до чего она восторженно шептала: как вылитый! Я подумал – потрясающе, но что это значит? Она с детства видит Пушкина на конфетных обертках, на рыночных олеографиях, на плакатах. Он ей близкий человек.

Кажется, что Пушкин возникает заново в каждом поколении и живет жизнью, возобновляемой нашими смертями. В случае Пушкина перед нами редчайшее слияние трех начал. Начало содержательности творчества, емкости формы объединяется с началом словотворчества в корневом основании русской культуры – сочетаясь с началом пушкинской судьбы. Вместе это наложило роковой оттиск на будущее русского слова и культуры, превратив ее в мартиролог противостояний, убийств, самопогублений, обрывов жизни. И три пушкинские ипостаси емко открыты судьбе всех сословий России. Они закладывают основание духовной жизни, в которой участвуют все, кто говорит по-русски.

Почему судьба одного человека могла оказаться втесненной в судьбу всей последующей России – рождающей великую литературу и не способной реализовать величие на общее благо в нужный момент? Для того чтобы это уразуметь, нужно освободиться от того, что Маяковский назвал «хрестоматийный глянec». Пора стряхнуть очевидность образа Пушкина, идущую от Тропинина в букваре и Кипренского с конфетной обертки.

– **Что значит пушкинский «оттиск судьбы», не пойму. Разве другие поэты подражали его судьбе?**

– Особенность русской культуры та, что судьба здесь ходит в соавторах. Нельзя сказать: был писатель, а у него была такая-то судьба, нет – судьба и есть автор!

Вот два момента из тайной истории русской поэзии или тайной полиции, как угодно. Молодого Пушкина после его эпиграмм – помнишь: «Романов и Зернов лихой, вы сходны меж собою: Зернов, хромаешь ты ногой, Романов – головою» – везут к Милорадовичу, военному генерал-губернатору Петербурга. Тот говорит – за вами вольнодумство числится, как скажут теперь, «клевета на общественный и государственный строй». Пушкин садится и тут же записывает все свои крамольные стихи – знаменитая *«тетрадка Милорадовича»*, ее ищут по сей день. Милорадович проникся уважением и посодействовал, чтоб его не в монастырь и не в Сибирь сослали, а к Инзову на юг, в Кишинев. Затем была Одесса и спасительная ссылка в Михайловское.

Отчаянный Мандельштам всем читает свое тираноубийственное стихотворение о Сталине: «Мы живем, под собою не чуя страны...» Его везут на Лубянку – и он тут же записывает самый стих, заодно список тех, кому его читал. Дальнейшее известно: заступничество Бухарина, сталинское «изолировать, но сохранить», ссылка в Чердынь и Воронеж. Мандель-

штама заперли в Воронеже, но его «Воронежские тетради» – вершина вершин его творчества. Здесь петербургский поэт Серебряного века сердцем и умом открылся России.

44. Карамзин, историк русской власти. Трагедия слабой власти в России.

– Но пушкинские курортные ссылки при томике Карамзина не сравнишь с Чердынью.

– Карамзин с его «Историей» – огромное явление самосознания. Первый историк, который представил русскому сознанию *его* историю на русском языке, и то была история русской власти.

Пушкин к нему подходит двояко. Во-первых, с точки языка: блеск! После «Истории Государства Российского» карамзинскую прозу читать смешно. Главное, что Карамзин представил проблему сильной и слабой власти как центральный вопрос русской истории. Он заставил думать о власти декабристов – ни Пестель, ни Никита Муравьев после Карамзина не могли пройти мимо вопроса о власти. Отсюда линия ведет в Михайловское, в спасительную для Пушкина ссылку.

Треугольник ссылки в Михайловском: *Шекспир – Карамзин – 14 декабря*. В центре пушкинский «Борис Годунов» – трагедия *слабой власти*. «Бориса Годунова» не было бы без первого русского *историка власти* Карамзина. Это он придал *вопросу о власти* силу и размах, которые помогут Пушкину проникнуться «николаевской идеей».

45. Николаевская идея Александра ПУШКИНА. ЧААДАЕВ, настаивающий на своем. Бенкендорф.

– Любопытно, кто вообще интересовался личностью Николая Павловича? Кому нужна личность царя? Политика, цензура, шпицрутены, то-се... а *личность* царя Николая? Неожиданный Николай 14 декабря, и неожиданный Николай встречи с Пушкиным.

– **На литографии его личность властная, но очень холодная.**

– Да, но я хотел сказать про другое. Для чего Пушкину так важно сохранять положение историографа дома Романовых? Николай, вообще говоря, неслабый психолог. Когда Пушкин сделал было попытку уйти, царь сказал: пожалуйста – пусть уходит! Ан нет. Пушкин был одолеваем Петром, и особенно *вторым Петром* в лице самого Николая Павловича. И чаадаевский вызов он тоже принял внутри отношений с царем – своей «николаевской утопии».

Чаадаевский вызов Пушкин ощутил неспособностью ответить на «Философические письма» одними рассуждениями. На чаадаевскую Россию небытия Пушкин отвечает Россией *небытия-и-бытия* в «Медном всаднике». Евгений бунтует, в сущности, против Николая как второго Петра. Россия бунтующего духа воссоздает из малого человека великого, низвергая великого в его кульминационный момент. Притом что низвергнуть до конца ни тот, ни другой обоюдно не могут! Один осужден на бунт и безумие, другой пригвожден к истории.

Эта заноза вплетена во весь логический и личностный роман Пушкина и Чаадаева, в тайниках его ума постоянно действующий, притягательный и отталкивающий. Выход на генеральную тему: чаадаевская Россия небытия – чем отвечать Пушкину? Оказывается, что Чаадаеву, которому нельзя ответить, оставаясь на высоте вопроса, на его генеральный тезис «мы – вне истории», можно ответить художественно. Невероятная *способность Пушкина вместить все* – Россию живых, живущих, страдающих людей – всех, кто был в прошлом. Таков его опосредованный ответ на Россию небытия.

При внезапности ответа Чаадаеву «Медным всадником» он еще и не прямой ответ Пушкина Николаю. Реакции царя мы обязаны улучшающей переделкой Пушкиным отцензурированного «Медного всадника». Щеголевскую попытку помнишь? Хотели реконструировать первый вариант как якобы доцензурный «подлинный». Шли напролом и попали в воздух. Вроде бы Пушкин занимается переделкой, «пробивая вещь». На деле же, по законам своего гения, в ответ на вызов царя он дает вещи окончательную художественную шлифовку. Тот лаконизм, ту сконцентрированность, неожиданность хода действия, где ни слова, ни звука не пропустить, – меняется все.

А чаадаевское небытие, если внимательно происследовать его письма, споткнулось при попытке Чаадаева перевести его в бытие. «Апология сумасшедшего» была уже после смерти Пушкина.

– **Почему сам Чаадаев не понял и не принял пушкинский ответ?**

– Чаадаев к концу жизни замкнулся в гордом одиночестве, отдающем паранойей величия. Сравни письма обоих Бенкендорфу, где Пушкин утверждает свою необходимость царю, а Чаадаев, юродствуя, самоуничижается – это очень разные письма.

– **Письма Чаадаева Бенкендорфу «философическими» не назовешь. Но и Пушкин писал генералу, рассыпаясь в любезностях.**

– Письма к Бенкендорфу – вещь, которую, говоря о Пушкине, хочется обойти. Сделать вид, что писались по необходимости, а Пушкин униженно вынужденному общению придал вид литературы. На самом деле Бенкендорф для Пушкина – еще одна ипостась *его* Николая – такого, каким он настойчиво, упрямо хотел его видеть.

Пушкин – гордый человек, а что он пишет Бенкендорфу? Пронесся слух, будто вы уходите, но я думаю о своей судьбе – если такое совершится, в вашем лице я потеряю заступника. Значит, тот был Пушкину важен как ипостась искомого Николая! Николая, который *может* принести благо, а поелику может, его *несет* его для России. Благо, которое роковым образом не сумели принести декабристы – несите вы, ваше величество! Тут правит магия поэзии, претворенная в политику, – *искомое есть сущее*! И удивление, как это они в Зимнем дворце его, Пушкина, роли не понимают? Искомость его роли.

– **Искомость Пушкина в данном случае?**

– Пушкинскую искомость Николая.

Бенкендорфа он считал человеком, у которого можно найти защиту или поддержку. Конечно, для Пушкина важны и практические вещи: сохранить за собой позицию историографа дома Романовых, тем самым историографа власти в России. Но прежде всего – внутреннее им себе и затверженное на высочайшем уровне понимания (Пушкин был поразительно умный человек), убеждение, что Николай Павлович – тот человек, который совершит *контрреволюцию революции Петра*. Так Пушкин верил, в том и была его заветная идея.

46. Пушкин как изобретатель диссидентства в России. Три варианта ответа на чаадаевский вопрос. Герцен. Дуэль как монархическая утопия.

– Итак, ты оспариваешь одну из любимейших русских сказок – «царизм погубил поэта»?

– Пушкин и империя, Пушкин и Николай, Пушкин и власть – тема, которая истолковывалась в терминах преследования: поэта ранили, язвили, отравляли жизнь и мешали творить. Начиная от не увидевшего свет «Медного всадника», кончая нелепой строчкой на памятнике, выдуманной Жуковским, и простоявшей до 1937 года – о рабстве павшем «по манию царя».

Все не так! Травимые, стесняемые, ранимые – такой русской темы до Пушкина нет. Она стала его личным постдекабристским открытием, проникая в сюжеты, которые прямо не обращены к ней. Пушкин трагически нов, новизной преждевременного человека, от которого далее пошел отсчет. По Ганди, «Пути в мир нет потому, что мир сам путь» – и в Россию пути нет оттого же. Россия сама путь.

С пушкинской точки зрения, власть и есть Россия, понятая как путь. Тема взаимоотношения Пушкина и царя Николая не сентиментальна, она интенсифицированно трагична. Человечески привязанный к друзьям их пролитой кровью, Пушкин перешагнул через кровь, выстрадав свое перешагивание. Привязанность он избыгает интеллектом, обращенным к России-пути. Поле *николаевского Пушкина* в узлах интеллектуального напряжения тем. И конечно, темы отношения к власти.

В общем, чаадаевская тема получила три продолжения, три разных ответа: пушкинский, гоголевский и Герцена. Гоголевская Россия небытия тоже ведь споткнется на переводе в *Россию бытия*.

– **Между первым и вторым томом – от мертвых к живым?**

– Да! Герценовский сценарий ответа политически наиболее успешен. Но все они никак не могут выкинуть из головы чаадаевское небытие – и каждый, включая самого Чаадаева, искал путь «от – к», к *России бытия*. А первый ответ, самый радикальный и самый гениальный, был пушкинский. Маленький человек выравнивается с Империей, не меняя хода истории.

– **Ценой отказа от могущества?**

– Нет же – для Пушкина могущество и есть власть слова! Власть слова сама масштабом в Россию, потому Пушкину достаточно России.

– **Итак, Пушкин придумал, как властью слова переломить силу власти?**

– Нет, думаю, они с Николаем взаимно нужны друг другу даже в финале.

Можно ведь и дуэль рассматривать как банальный факт светской жизни Петербурга – не будь Пушкин Пушкиным или подставь судьба другого на место Дантеса. Для Пушкина дуэль была финальным решением – ей предшествовала катастрофа его государственного замысла. Руками власти он хотел заставить ту наконец сделать выбор в пользу себя – Пушкина как представителя России в частном деле.

Сопоставь семейную ситуацию Герцена с ситуацией Пушкина: ненормальны обе. В обеих соучаствуют коварство, подлость, безразличие друзей. Много ингредиентов дают адское варево. Но Пушкин вообще не ищет решения запутанной личной ситуации. Ему нужно возвести дуэль из семейной развязки во всероссийское событие: показав, как *власть в лице русского царя оберегает честь русского Слова*. Ничтожества покусились на честь *его и России* – оскорблено величие Слова. Тогда власть русского царя вмешивается и разрубает узел, закрепив их союз. Пушкин навязывал выход, при котором Николай возьмет под защиту

его не как семейного человека только, а как вторую Россию, равную Империи! И терпит окончательную катастрофу проекта. Банальность дуэли лишь подчеркнула гибель великого замысла.

Пушкин построил здание по политической утопичности, масштабности – и по неисполнимости, конечно, гениальное, как «Медный всадник». Все, что связано с его финалом, уже не быт, а история Государства Российского – по Пушкину, не по Карамзину.

47. Конец тирании НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. Хрупкость империи и ее успехи. Утопическая спекуляция графа Витте.

— У Евгения Викторовича Тарле в «Крымской войне» хороша глава о царе Николае Павловиче. Тарле говорит, что Николаю после 1848 года казалось, что ему можно все, как Наполеону после Аустерлица. В такой момент формируется не авторитарный, а *тиранический режим*. Тиранические режимы отмечены убеждением, что они *действительно* все могут. И факты долго подтверждают эту уверенность, пока не наступает ясность: *finite* — вчера еще все, а сегодня уже ничего нельзя.

Был колосс Российской империи, вся Европа дрожала, и вдруг надлом. Неудача в ничтожной периферийной Крымской войне. Но ее хватило, чтоб сокрушился и покончил с собой царь Николай. А ухода Николая Павловича хватило, чтобы все в империи сдвинулось.

Говорят, нарастали предпосылки капитализма в России, которым следовало дать ход — все вранье. Так совпало, что покончил самоубийством царь Николай и воцарился Александр Николаевич, плакавший над «Записками охотника». Можно рассмотреть, какую роль играли человеческие цепочки. У Герцена друг профессор Кавелин, а Кавелин вхож в Михайловский замок к великой княгине Елене Павловне, великая княгиня — к царю... И вот уже «Колокол» читают в Зимнем дворце.

С одной стороны, падение царя: страшное дело, когда рушится человек, казавшийся России небожителем. Все расплывается, но тут же являются и разные возможности. С другой стороны, система крепостничества. Таким крепостничество не было нигде в Море, кроме России. Это не «экстенсивный феодализм», а интенсивная система, умевшая беречь человеческие жизни на свой лад. Песни о том, что «крестьяне жили все хуже и хуже», вымирали — легко опровержимая байка. Но к тому времени в Европе начался бум, и капитализм вышел на новые связи — железные дороги, банковский кредит. И в экономике России все пошло странным путем, от средств обращения к производству. Комбинация «банки — железные дороги» дала послекрымской империи шанс стать мировой державой заново.

Врут, что роль России угасала, — ничего подобного. К концу XIX века Россия была не менее могущественна, чем Англия, и кое в чем даже ее оттирала. Борьба за Иран и Среднюю Азию шла с заметным преимуществом для Санкт-Петербурга. Далее гигантский проект Витте — Транссибирский путь с продолжением в Китай. С коварной идеей опустошить парижскую биржу в пользу России.

Вспоминаю, как впервые открыл одну вещь — действительно открыл. Занялся синдикатами и монополиями при царизме: казалось, где крупные корпорации, а где царизм? Вещи будто несовместимые. Приехал в Ленинград, беру фонд Совета министров и с удивлением вижу — какое место в работе этого «архаического» якобы правительства занимали акционерные и финансовые операции.

Брали займы на короткий срок под любые проценты, сознательно — «пока мужичок выдерживает», так и говорилось. На заемные деньги строили железные дороги, под них — металлургические заводы, угольные шахты и так далее. Внутренние накопления шли на армию, чиновников и дворянство — зачем? Чтобы средствами дипломатии и войны взять побольше азиатских рынков. Считалось, что русские долги парижской бирже, все проценты вместе с займами выплатит миллиардоголовая Азия, став колонией необъятной России. До кризиса 1900 года с этой финансово-евразийской утопией все шло прекрасно, только потом стало рушиться.

Россия всегда модернизировалась только так. Обручами власти стянутая Евразия решала свои внутренние проблемы, вынося их вовне! Всякий раз кто-то падал и его добивали, либо он кончал с собой. В сущности, большевики обновили комбинацию Витте на иной основе. Гигантскую стяжку пространства с выбросом проблем вовне провели по-другому – через мировую коммунистическую революцию! А когда с той не вышло, выскочил нэп и был задавлен, поскольку к держанию пространства нэповская Россия оказалась непригодной.

48. Пространство наперегонки с временем в России. Чичиков как триумфатор.

– Время в России как-то связано с пространством. Для евразийской беспредельности России отношение к *времени* всегда актуально. Причем не к времени протекания событий, а к *времени как к таковому*. В русской культуре сложно выражено соотношение прошлого и будущего, со встречей их в настоящем. Во времени нас что-то тревожит, пугает. Пространство теснит время и само пожираемо им.

Пушкин вечно в пути, в дороге. Вместе с тем у него беспокойно-заботливое попечение о прошлом, их спор с Чаадаевым и в этом отношении характерен. Пушкин опасается, что Чаадаев отнимет у русских, и персонально у него, Пушкина, прошлое. В том, как Пушкин яростно отстаивал любого человека XVIII века, есть влияние Вяземского, но это частный момент, и еще кто на кого влиял? Отношение Пушкина к XVIII веку: не смейте отнимать!

Есть и прямо противоположное чувство *аннигилированного времени*, связанное с пространством. Время в «Мертвых душах» не присутствует как время. Образ пространства масштабирован перемещением чичиковского экипажа, Руси-тройки, в паре с Чичиковым.

Народная и национальная культуры всюду не вполне совпадают, но в России не совпадали существенно, вводя в препирательство времени с давящим, цепким, отбирающим пространством. Время здесь то сжимается, то раздвигается, то аннигилируется. То прошлое отменяют и будущее разрастается до гипертрофированных величин – то снова затем откат к пространственной хватке.

49. Логический тупик чаадаевского коана. Ставленники Петра Яковлевича.

– Письма Чаадаева были восприняты лишь несколькими ударными местами из скандального первого письма – один «Некрополис» чего стоил! Прочие семь писем остались вне обсуждения. Логически упорядоченное извержение мысли остается извержением при всей упорядоченности. В конструкции Чаадаева не воспринята его странная главная мысль, с зазорами в составных частях.

С одной стороны, мы, русские вне истории. Быть вне истории – значит не иметь универсального прошлого, а тем самым и надежного будущего. Россия вне Востока, но она не приобщена и к Западу. Запад испытал бурные эпохи, полные кровавых страстей и греха, но те закрепили за мыслью место в человеческой повседневности. Перешагивая через декабристскую попытку, Чаадаев соединяет соучастие в мировом процессе с поворотом к повседневности, где только и можно быть собой человеку. Соединяет напрямую: вот ваша почва, сударыня!

– **Что его не устроило в декабризме? Зачем он его пнул в «Письмах»?**

– От декабристов Чаадаева оттолкнула слабость попытки, ее недостроенность до участия в мировом движении рода. Ему важно понятие *воспитания человеческого рода*. В то же время декабризм остался чужд русской повседневности, он не там и не тут. Чаадаев понимал повседневность так – в жизни должно быть нечто чарующее!

– **В России он чарующего не нашел?**

– Письма и посвящены трудностям личного поиска. Выходя из русской межеумочности и приобщаясь к мировому воспитывающему движению, уже не посягаешь поменять судьбу всех людей разом. Чаадаев видит в человеческой повседневности религиозное движение мысли, совпадающее с движением к Царству Божию на земле. Он склонен к активной провиденциальности. К христианскому несовпадению – где целое предрешено, требуя вместе с тем активности каждого по его доброй воле.

Применив это к России, Чаадаев заострил русскую межеумочность. Отклоняя «честолюбие сиюминутных перемен», Чаадаев требует связать повторяемое Россией воспитание человеческого рода с новой повседневностью – религиозно приобщенной и открытой личному действию. В его конструкции ощутим логический тупик, который далее развернется в *логический роман* Герцена.

– **Где же тут логический тупик?! Все увязано.**

– Но как это сделать? Мы вступим в человечество, только повторив у себя в России воспитание человеческого рода. Притом что найдем мы себя, только *уже* вступив в человечество. Первое и второе исключают друг друга. Мы не стоим в ряду цивилизованных народов Европы, замиливших тысячелетние распри порядком и строем жизни, – и не станем собою, пока не войдем в их строй. Но ведь войти и нельзя, не повторив всей Россией воспитание человеческого рода!

Как выйти из круга? Чаадаевский вопрос скрыт под видом отрицательного ответа. Вопрос закодирован, хотя истинно остается вопросом – вопиющей неясностью и зовом к действию, форм которого Чаадаев указать не может. Лишь позже им будет написана «Апология сумасшедшего». В «Апологии» Чаадаев уточнит, что у России все ж есть путь вхождения в человечество, и он имеет форму глобальной дополнительности. Путь России задевает не только русских, он уже не только наше внутреннее дело: войдя в европейскую вселенскость, мы саму Европу меняем своим вхождением!

Вот откуда выйдет политический Герцен – неважно, читал он «Апологию сумасшедшего», или Чаадаев развивал эти мысли еще в московских беседах. Герцен вышел из чаада-

евского «не быть». Тут в общем коконе и западничество, и славянофильство. Ученичество Герцена зафиксировано его словами в письме: покажите Петру Яковлевичу, я его ставленник!

50. Форма как заговор. Достоевский после каторги – продолжение «Мертвых душ».

– Как движением слова творится реальность, которая однажды пересилит реальность Империи? И что происходит с человеком при этом? Форма – вот что превосходит содержание, образуя человека на том уровне, где иначе его подвинуть нельзя.

Помню, как-то раз я себя плохо чувствовал, дело пахло первым инфарктом. Был я в Моженке, один в целом доме отдыха. И нашел там «Мертвые души» в дешевом издании с бумажным переплетом. Сознаюсь – со школы не читал, дай, думаю, перечитаю про помещиков и кувшинное рыло.

Открыл и был потрясен: я такой книги не читал вовсе. Какие там Ноздревы, помещики да чиновники? Поразительное движение слова. Едва начинает разворачиваться период речи, как движение сюжета уводит на невероятную глубину. Кажется, все и так уже неизмеримо глубоко, а слово ведет и ведет глубже. Такое изнеможение я испытывал, слушая Бетховена – кажется, все, никакой возможности нет более, а что-то продолжает бить из глубины.

Безумец Гоголь думал, что пишет про близких знакомых. Прежде мне это было непонятно, принимал за выходку гения. Да нет же – он окружающих абсолютно реально так воспринимал, обряжая их в тела каких-то помещиков. У Гоголя «Мертвые души» натуральны, все персонажи – функциональные телесные маргиналы. Они подвижны, но они не при жизни. Гоголь верил, что во втором томе откроет, как извлечь людей из ветхого тела, и попушкински «напишет им жизнь». Но все оборвалось первым томом – второй том движения лишен. После первого тома книга не могла найти продолжения, Гоголь зря делал страшные насилия над собой. Зато вышедший из каторги Достоевский – вот где второй том «Мертвых душ»! Все, что было у Достоевского, – это его жизнь после его смерти. Смерть человека, пережившего миг, когда его накрыли колпаком для расстрела. Затем прошедшего каторгу.

Достоевский разрешил гоголевскую коллизию: в первой части «Преступления и наказания» им сказано совершенно все – Гоголь договорен! Уже ни прологов, ни развертывания экспозиции, с самого начала – действующий вулкан. И когда, казалось, все исчерпано первой частью, сказано и завершено – так нет же! Является кошмарный следователь Порфирий Петрович с группой бесов помельче.

Мы с Игорем Виноградовым, он у нас «достоевсковед», как-то заспорили о Порфирии Петровиче, и я ему говорю – видно, мы с вами разные книги читали.

51. Взрывоопасные банальности Достоевского. Ставрогин.

– Поскольку высшая истина банальна, решиться взойти до банальности мог только великий художник. Достоевский разве не банален? Чрезмерно банален. Тут много обстоятельств, есть субъективные – шумиха вокруг его появления в столице после каторги. Носимый на руках мученик, кумир либералов-шестидесятников, автор «Мертвого дома»... Как вдруг дикое желание врезать всей этой образованщине, показать ей, что он другой крови! И пошло, и пошло.

«Идиот» и «Бесы» равны своей властью над читающим, его ощущением выброса из глубины чего-то грандиозно-первичного. В обоих романах есть несоответствие побудительного первозамысла, под которым вдруг разверзается нечто. «Бесы» выросли в вещь, пошедшую бесконечно дальше желания автора поквитаться со своими 1840-ми годами, – а оно есть тоже и явно проходит насквозь. И «Идиот» перерастает свой странный детективный сюжет с банальным треугольником Мышкина, Рогожина и Настасьи Филипповны. Почему этот роман так пронзительно важен для человека? Странно, что его вообще читают. Когда этот Мышкин встречается, что он мелет? Всякую чепуху. Первую попавшуюся мысль, какая в тот момент пришла автору в голову, он ему вкладывает в уста – например, о роли аристократии. Какая аристократия – почему вообще Мышкин должен это внушать кому-то?

– **Когда я в школе читал «Бесов» впервые, меня осенила школьническая догадка: Мышкин – это воскрешенный Ставрогин. Которого в Швейцарии вынули из петли и откачали. Однако исторический прототип меня опровергает – Нечаев был явно не Идиот.**

52. Персонажи сороковых и пятидесятих годов XIX века. Ставрогин как разрушитель идеи «Бесов».

– В комментариях к «Бесам» принимают за не подлежащее сомнению, будто Петруша Верховенский и есть Нечаев. А не предпринял ли Федор Михайлович более глубокого хода? Не расщепил ли он образ Нечаева на Верховенского и Ставрогина, выделив в этом, чужом ему человеку сторону, от которой себя оторвать не мог? Которая в чем-то и его сторона? Тогда только ощущение автобиографизма этой вещи приобретает предметность.

Достоевский расщепил фигуру Нечаева на спектр типов, от менторов до активистов низменного склада. Не случайна тут даже фигура Бакунина. Знаменитые люди 1840-х годов, того же склада, что сам Достоевский и Щедрин, или противоположные им Катков и Кавелин. Эти четверо в 1860-е годы участвуют (да еще как участвуют!), в чем-то оставаясь выше прочих людей 1840-х. До старости они несут отпечаток первенства – пусть, как у Каткова, вывернутое, опоганенное ненавистью, оно все-таки в них сидит.

Ведь Ставрогин в контуры нечаевского дела никак не укладывается. Он взят в контуре глубинной вины предтеч, заводил, духовных инициаторов. Более глубокой, чем вина исполнителей, – вины, страшной ее идеальностью! Ставрогин и не из когорты «отцов», к 1840-м годам его не привяжешь. Он где-то между ними и исполнителями, рвущимися к прямому действию, героями однозначных проектов. С этими он свой – но свой и с идеалистами 1840-х годов, оставшимися не при деле и обреченными на праздность ненужного присутствия. Ставрогин между теми и этими.

Кто он? Он из конца 1850-х – начала 1860-х. Когда Чернышевский с трудом подсчитывал на листике, сколько новых людей на всю Россию – пять-шесть или семь? Ставрогин где-то там, где Рахметов.

Достоевский пробивается к пониманию человека, которого он видит новым – по отношению к старым новым, которых ранее провозгласил *новыми людьми* Чернышевский. Новыми их признавали в 1860-е, и они себя такими считали. Но чем они разъясненней для него, чем понятнее в сюжетном планировании, тем неожиданней автор в своем тексте.

Текст романа вырастает из крушения прошлой ясности, когда схематика перерастает в нечто удивительное, несводимое к заветной мысли одного человека. Вот у Достоевского полно записей, набросков, уже задуман Шатов, Степан Трофимыч, и Верховенский-сын намечен: все есть. А роман не строится – нет центральной фигуры. Все необходимое для «антинигилистического романа» есть – но роман не роман, и автор его не Достоевский. Нет превращения банальности в откровение, заранее не известное автору, но открывающееся ему как истинное.

– А что, Ставрогин появляется последним?

– Конечно! Все стало меняться летом, когда он уже писал роман о Ставригине, из сердца своего, пошли бесконечные эпилептические припадки, и работа прекратилась. После этого автор сел и написал новый роман. Все существенное из ставрогинской биографии, его прошлые идейные порывы, что разработано в предварительных записях, – одним махом вынесено за кадр. Ставрогин начинается уже погасшим, не нашедшим соответственного дела, но и не смиренным с утратой. Во время припадков автор видел в нем свет, движение, его странность...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.